

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 11. “Меня Распутиным назвали...”

Осенью 1913 года совсем юный Сергей Есенин, автор довольно небольшого количества совсем ещё незрелых стихов, писал своей знакомой Марии Бальзамовой:

“Я не намерен никуда поступать, так как наука нашего времени — ложь и преступление. А читать, я и так свой кругозор знаний расширяю анализом под собственным наблюдением. Мне нужно себя — а не другого, напичканного чужими суждениями. Печатать я свои произведения отложил со второй корректуры, т. е. они напечатаны, но не вышли в свет, так как я решил ждать критика Измайлова, который нах/одится/ за границей...”

Статьи Измайлова регулярно печатались тогда в “Русском слове” и в “Биржевых ведомостях”. Там же Есенин и прочёл произведшие на него сильное впечатление измайловские обзоры современной русской поэзии, в частности, статьи о поэзии Клюева, Городецкого и Бориса Садовского. Судя по всему, это было его первое заочное знакомство с Клюевым — ещё в пересказе критика.

А первой книгой Николая, попавшей ему в руки, стал “Сосен перезвон”, подаренный гражданской женой Анной Изрядновой. Эту книгу Сергей, что называется, “пропахал” от первой до последней строки, при этом отметив крестиками три стихотворения: “В златотканые дни сентября...”, “На песню, на сказку рассудок молчит...”, “Под вечер” (“Я надену чёрную рубаху...”).

Можно без преувеличения сказать, что с этого “знакомства” в есенинской поэзии и совершается коренной перелом. Не сразу, не в один миг, но он извбавляется от придавшей его поначалу “надсоновщины”, возвращается памятью к родному Константинову и начинает писать стихи, которые потом войдут во все хрестоматии и которые он, составляя своё последнее собрание сочинений, будет датировать тремя-четырьмя годами ранее, чем они действительно написаны — дабы не оставить для читателя ни единого следа своего юношеского неуклюжего “ученичества”.

*Вытлкался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.*

*Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.*

* Продолжение. Начало в № 1–10 за 2009 год.

Конечно, не один Клюев читался в это время. Читались, обсуждались, анализировались Блок, Бальмонт, Сологуб, Городецкий — все старшие и младшие символисты. Но ничего более родного, чем открывшийся ему Клюев, для Есенина не было. Он вдруг понял — куда ему нужно вернуться и что неизбежно должно войти в его стихи.

А дальше — всё совершалось по какому-то роковому закону, по какой-то изначальной предназначённости.

9 марта 1915 года он приезжает в Петроград и приходит на квартиру к Блоку. К Блоку, уже имевшему опыт переписки и общения с Клюевым. От Блока, отметившего “стихи свежие, чистые, голосистые, многословные”, получает рекомендательное письмо к Городецкому.

Вот на квартире Городецкого и встретились лицом к лицу Николай Клюев и Сергей Есенин в марте 1915 года, встретились, не видя друг друга.

Встреча получилась безмолвной и мистической. Хозяин квартиры, очарованный “звонким, озорным голосом”, открытостью, доверчивостью и талантом юного рязанского поэта, в самом начале знакомства с ним написал его портрет, который поместил на стене неподалёку от нарисованного им ранее “страшного” портрета Клюева. И Николай, и Сергей произвели на Сергея Митрофановича настолько глубокое, неизгладимое впечатление, что он написал их портреты, разделённые тремя годами, ещё в тот период, когда каждый из них только-только входил в литературную жизнь, получал первую известность. Восприятие личности каждого из поэтов — диаметрально противоположное. Светловолосый, с приветливо-ласковой улыбкой на нежно-розовом лице, с открытым взглядом Есенин производил незабываемое впечатление чего-то солнечного, одаряющего присутствующих бесконечной и доброй любовью. Это впечатление отмечали многие современники. Константин Ляндау вспоминал: “. . . мне показалось, как будто моё старопетербургское жильё внезапно наполнилось озарёнными солнцем колосьями и васильками. Светловолосый юноша с открытым взглядом добродушно улыбался, он был скромн, но ни в малейшей степени не скован. . .” Таким и нарисовал его Городецкий, тогда как лик Клюева, изображённый им, сам же назвал “страшным”.

В этом слове, произнесённом Городецким уже в середине 1920-х годов — ключ и к его молчанию о Клюеве после первоначальных неумных восторгов, и к его “гуканью” на клюевские песни и “Лесные были”.

Они были ровесниками, однако к моменту появления Клюева в литературе Городецкий — всеми обласканный и захваленный, в том числе и Блоком, автор “Яри”, а Клюев — начинающий “крестьянский” поэт, заслуживший признание и уважение того же Блока, но тот — чья слава ещё впереди. После “Сосен перезвона” и “Братских песен” он принят в литературных кругах как самобытный, оригинальный, с огромным творческим потенциалом, интереснейший, но во многом чуждый столичной интеллигенции и литературной богеме человек. В обществе он ведёт себя вполне пристойно, скромно, даже производит впечатление человека излишне тихого.

Чего же в конце концов “испугался” Городецкий? Наверное, того же, что отшатнуло от Клюева многих, поначалу восхитившихся им, включая и Александра Блока, и Иону Брихничёва, не говоря уже о “поэтических цеховиках”. Необычайная глубина и многомерность клюевского духовного мира. Творческая мощь. Духовная сила, что сродни силе Микулы Селяниновича, сила, которая поражала всех, кто видел её в действии, и понимание которой доступно лишь единицам.

Дело не только в закономерностях познавательного процесса. В психологии известна так называемая “готовность к восприятию”: если человек находится в состоянии готовности видеть чудовище, то он его и увидит — хотя бы перед его глазами возникла красавица. Люди, никогда не слышавшие о самолёте и никогда его не видевшие, но знакомые с железом, увидев летящий самолёт и осмотрев его, когда он совершит посадку, вероятнее всего, примут его за железную птицу, не догадываясь о его назначении перемещать людей на большие расстояния.

Читатели и слушатели Клюева чаще всего готовы были к восприятию народного фольклора, но не имели знаний о глубинной народной культуре. Ощущая подсознательно клюевскую творческую мощь, невольно чувствовали страх перед не понятым ими. Всё было хорошо и относительно “уютно”, пока

стихи Клюева воспринимались как своего рода “народное” переложение фольклорных мотивов с “примесью” уже прозвучавшего у “младосимволистов”. Но дальнейшее развитие его творчества, новые стихи и “сказы” оказывались им не по зубам. Всё более усложнявшаяся поэтика, нарастающая густая образность свидетельствовали о разработке древнейших пластов, с невиданной силой и уверенностью вводимых в современную поэзию. Не ощутить эту могучую творческую стихию было невозможно — настолько она была отлична от слышанного и виденного ранее и, самое главное, — входила в явное противоречие с известными поэтическими канонами. Признанные корифеи литературного мира и те, кто стремился взлететь на литературный Олимп на формотворческом Пегасе, не могли вобрать, воспринять дар Клюева во всей его целостности и глубине, принять те непомерные перспективы, которые открывались им. Сбивало с толку также и явное противоречие между творческой новаторской мощью и традиционным “деревенским”, “мужицким” обликом поэта, между высочайшей культурой этого мира и его народной основой — как она им виделась. Воспринять и принять, то есть узнать и понять, что в народном творчестве, в творчестве русского мужика существует высочайшая, глубоко своеобразная культура отношения к человеку и миру, к космосу — этим культурным людям было почти невозможно. Они, усвоившие книгу и этикет, культуру своего социального слоя, привыкли в большинстве своём смотреть на народное творчество лишь как на фольклор, а на себя — как на носителей высшей культуры, которые призваны “развивать” “тёмные”, “невежественные” народные массы, указывая им путь к свету. Столкнувшись с представителем этих “тёмных” масс, увидеть, ощутить, что этот человек из народа более глубок, чем они сами — представители культурной элиты, — больший новатор, чем они, что он — носитель совершенно неизвестной им глубинной высочайшей культуры, — большинству из них признать и даже просто понять было чрезвычайно трудно, а многим — так просто невозможно.

Признать это означало признать, что не они — сущностная сила развития народа, что народ сам по себе, независимо от них, уже создал высочайшую культуру, пронизывающую всю его жизнь. Это означало признать и то, что они, интеллигенты, творцы прекрасного, не только не знают своего народа, но и отстали от его духовного развития, а следовательно, не могут и претендовать на роль водителей народа, его наставника. “Народ-лапотник” оказывался могучим созидателем прекрасного в самой своей жизни, творцом своей судьбы и не нуждался в подсказке и указке интеллигенции. Народ нуждался в том, чтобы она поняла его, приняла и развивала вместе с ним уже созданную им культуру, шла по пути, уже им избранному. До сих пор эта мысль не принимается ни интеллигенцией, ни властью имущими. Чего же было ждать от “корифеев” той эпохи?

Клюев в последних по времени стихах представал как полное олицетворение народа — творца своей судьбы и жизни на незыблемых основах Божественной правды и красоты. Подобно тому как поэзия Пушкина, гармонично включающая образы древней культуры Греции и Рима для раскрытия поэтических смыслов, требовала для своего понимания определённого духовного уровня, знакомства с культурой древнего мира, с классическими образцами литературы — поэзия Клюева требовала овладения книжной и устной культурой народа — не менее сложной и не менее прекрасной, чем классическая. Его стихи требовали знания этой высочайшей культуры иного характера, нежели классическая, знания иных реалий, иных образов и понимания иных смыслов жизни народа. Тогдашней интеллигенции в её большинстве она была по сути неизвестна, и ещё менее известна она нынешнему читателю. А всё неизвестное в лучшем случае утомляет, а в худшем — страшит, особенно если это неведомое явлено так мощно, что силу и красоту его невозможно не признать. Это страшит в той же степени, как вызывают страх ещё не познанные людьми природные стихии.

Есенин не просто почувствовал — он понял силу таланта Николая, его кровную естественную связь с древней духовной культурой русского православия, ощутил в его стихах ритм народной жизни, что бился в унисон с жизнью церкви. Чтобы уберечь запоздавших путников во время лютых зимних метелей и вьюг, во всех церквях по распоряжению епархиальных властей звонили в колокола — и на всю округу слышался непрерывный колокольный перезвон. Таким спасительным зовом прозвучали клюевские стихи в душе

только-только нащупавшего свой поэтический путь девятнадцатилетнего Сергея.

Вроде ничего особенного он и не написал Ключеву в письме – лишь перечислил свои первые литературные успехи. Ключев же почувствовал куда больше за есенинскими словами, ощутил, что эта встреча может стать для него судьбоносной. А упоминание Есениным Городецкого и Зинаиды Гиппиус вселило в Николая нешуточную тревогу.

“Милый братик, – отвечал он Есенину сразу, как родному, – почитаю за любовь узнать тебя и говорить с тобой, хотя бы и *не написала* про тебя Гиппиус статьи и Городецкий *не издал* твоих песен. Но конечно, хорошо для тебя напечатать наперво 51 стихотворение.

Если что имеешь сказать мне, то пиши немедленно, хотя меня и не будет в здешних местах, но письмо твоё мне передадут. Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Что-бы быть наготове и гордо держать сердце своё перед опасным для таких людей, как мы с тобой, – соблазном. Мне многое почувствовалось в твоих словах – продолжи их, милый, и прими меня в сердце своё.

Н. Ключев”.

Знал, что писал – личное общение с Гиппиус и Городецким оставило свой несмываемый осадок. Сам Есенин уже имел свой опыт общения с той же Зинаидой, к которой пришёл в деревенских валенках (как привык ходить по ранней весне) и услышал: “Что это на вас за гетры такие?” Эти “гетры” вспоминались ему, когда читал статью Гиппиус “Земля и камень”, напечатанную под псевдонимом “Роман Аренский” в “Голосе жизни”, на страницах которого всю в это время шла “дискуссия” о футуризме – барабанный гром статей Философова, Шагинян, Виктора Ховина вполне соответствовал “уханью” самих футуристов. Тон статьи “метрессы” был более приглушённым – писала, словно рассматривала через лорнет.

“Перед нами худощавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с весёлыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в “Питер” недели две тому назад, прямо с вокзала отправился к Блоку – думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес. В Питере ему все были незнакомы, только что раньше “стишки посылал”. Теперь сам их привёз сколько было, и принялся раздавать “просящим”, а просящих оказалось порядочно, потому что наши утончённо-утомлённые литераторы знают, где раки зимуют, поняли, что новый рязанский поэт – действительно поэт, а у многих есть даже особенное влечение к стилю подлинно “земляной” поэзии. Девятнадцатилетний С. Есенин заставляет вспомнить Н. Ключева, тоже молодого поэта “из народа”, тоже очень талантливого, хотя стихи их разны. Есенин весь – веселье, у него тон голоса другой, и сближает их разве только вот что: оба находят свои, свежие и верные слова для передачи того, что видят”.

“Глупая статья. Она меня, как вещь, ощупывает”, – такова была реакция Есенина на размышления “Аренского”. Это “ощупывание, как вещь” было уже хорошо знакомо Ключеву. Буквально через три дня после ответа Есенину он пишет письмо Виктору Миролюбову, видимо, сообщившему Николаю, что Городецкий пишет о нём очередную статью: “Простите за беспокойное заказное письмо, но я переживаю тяжкое время – и что это выдумал Городецкий? Как я просил всех не писать обо мне, а если и писать, то касательно лишь моих произведений...” Извещение о беседах о нём Городецкого с Есениным не могло не вызвать у Николая тревоги. Мало того что сверлила мысль – о чём мог Городецкий наговорить “милому братику”, – не оставляло и переживание за самого Сергея, лично ещё не знакомого, но уже ставшего родным и близким, как никто. Вечно впадавший в соблазны Сергей Митрофанович уже хорошо был известен в литературном мире, как человек без стержня и без царя в голове, к тому же пропитавшийся миазмами тогдашней “литературной жизни”, где царили соответствующие нравы, свидетельствующие о своеобразной “продвинутой”. Максимилиан Волошин вспоминал, что поэт Эллис заговорил “при Брюсове: почему Вячеслав Иванов так восторгается Городецким. Брюсов ответил ему: “Знаете, Лев Львович, нельзя быть таким наивным. Кто не знает, в каких отношениях Вячеслав Иванов и Городецкий?” Эллис не вполне поверил и спросил приехавшего В. Ф. Нувеля. Тот засмеялся ему в лицо: “Вы совсем наивное дитя, несмотря на Ваш голый череп. Наша

жизнь, — моя, Кузмина, Дягилева, Вячеслава Иванова, Городецкого — достаточно известна всем в Петербурге”. Разврат — умственный и физический — был в этом кругу и признаком “хорошего тона”, и опознавательным знаком “своего”, и “острой” жизненной приправой. И никакой страх ни перед каким законом — ни Божеским, ни уголовным (которого тогда не было и в помине) — не мог охладить “интеллигентных шалунов”.

Городецкий обладал свойством не только соблазняться, но и соблазнять. Неумеренные похвалы, расточаемые им ранее Клюеву, а ныне — Есенину, клятвы в вечной дружбе, акцентирование “родственности” творческих миров, всемерное человеческое расположение, сочетаемое с повадками “учителя” и “поводыря”, — всё это, вместе взятое, тем более не могло не насторожить Николая, уже хорошо узнавшего цену подобному “заманиванию”. В то же время Клюев хорошо понимал, насколько важна Есенину поддержка на первых шагах в столичном литературном мире. Другое дело — как и кто её оказывает.

Душа его рвалась в Петроград к Сергею, но выехать он не мог — не отпустили заботы по хозяйству, да и тяжёлые воспоминания о последнем питерском “гощении” не оставляли. Выезжал в соседний уезд “по сплаву лесных материалов”, как писал Миролюбову, — а тут подоспел и сенокос. Дом фактически был на нём одном, и до осени приехать в столицу он не мог никак. Оставались письма. Тут пришёл по почте “Голос жизни”, где была напечатана его подборка стихотворений, среди которых и “Рыжее жнивье, как книга...”, и “Судьба-старуха нижег дни...”. А ранее, в этом же журнале, есенинская подборка. С пресловутой статьёй Гиппиус, которую читал Клюев — и темнел лицом и душой.

“Рядом с Есениным, за тем же столом, сидел пред нами другой юный поэт, не “земляной” — “каменный”. Современники — они всё-таки немножко не понимают друг друга. Есенин не знает “языков”, а потому ему невдомёк, что значит “манто”, “ландолэ”, “грёзо-фарс” и т. д., а коллега не понимает ни “дэжки”, ни “купыря”, и скорее до “экарлатной” зари додумается, чем до “маковой”. Но оба хотят богатства слов. И оба имеют. Только у “каменного” поэта своего нехватка, и приходится в чужих странах прикупать, а поэт “земляной” приехал с собственным русским богатством из Рязанской губернии, и лишней раз стало ясно, как обильна земля наша; всего у нас вдоволь, а если кому не хватает, если в каменных столицах всё, вплоть до слов, — покупное, так это потому, что мы с нашим богатством сладить не умеем”.

Вот она — похвала, что хуже любого ругательства. И вроде всё правильно, всё на месте, как и замечание о мастерстве, что “как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие” — а ощущение скверное, и руки вымыть хочется... Не надо было Клюеву долго думать над вопросом — что за “каменный” поэт. Сам этого “каменного” с интересом читал, и даже кое-что нравилось ему поначалу в “Громокипящем кубке”. Только всё это пройдено, осталось позади — и как же не хочется, чтобы “братик” начинал свой путь с тех же колдобин, что и сам Николай! А стихи... Стихи влюбились в себя Клюева сразу. Своей “вещностью”, точностью, проникновенной живописью.

*Пахнет рыхлыми драчёнами,
У порога в дёжке квас,
Над печурками точёными
Тараканы лезут в паз.*

.....
*Мать с хватками не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадётся
На парное молоко.*

.....
*А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Залезают в хомуты.*

И в стихах, опубликованных в “Ежемесячном журнале”, очаровывала покоряющая слитность с природным миром, широта и плавность поэтического жеста.

*Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.*

*На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.*

*Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.*

Клюев пишет Есенину большое письмо с подобным разбором его стихов, который призван был, помимо всего прочего, нейтрализовать в сознании молодого поэта холодные, через прищур, похвалы “Романа Аренского”. Письмо, к сожалению, не сохранилось, а в следующем Николай настойчиво просит ответа: “Что же ты, родимый, не отвечаешь на мои письма? Мне бы хотелось узнать, согласен ли ты с пониманием моим твоих стихотворений... Читал ли ты в № 20 “Голоса жизни” мои стихи и что про них скажешь? Я очень люблю тебя, Серёжа, заочно – потому что слышу твою душу в твоих писаниях – в них жизнь, невольно идущая. Мир тебе и любовь, милый”. Это “слышу твою душу” – главное для Клюева, и слух свой он стремится передать “родимому”, ибо знает: никакие похвалы, никакие восторги без “слышания души” поэта добра не принесут, а только худо причинят. В письме Миролюбову от 22 июля он вкратце передаёт своё впечатление от есенинской поэзии: “Какие простые неискусные песенки Есенина в /и/юньской книжке, – в них робость художника перед самим собой и детская, ребячья скупость на игрушки-слова, которые обладателю кажутся очень серьёзной вещью...” Ясно, что речь здесь не только и не столько о пресловутом “мастерстве”. И здесь же Клюев упоминает о писаниях, посвящённых ему: “Про “Избьяные песни” я получил большую статью, где я сравнён ни много ни мало как с Метерлин/к/ом – но по прочтении упомянутой статьи во мне осталась какая-то обида, род презрения к себе...” Речь идёт о статье Зои Бухаровой, с неизменным пиететом писавшей в дальнейшем и о Клюеве, и о Есенине – “Новые пути русского искусства”, где критикесса узрела “... живую одухотворённость предметов домашнего обихода, признающую за ними отдельное, символическое в самой простоте своей существование и роднящую этим нашего бытового поэта с проникновенным мечтателем... Морисом Метерлинком. Разве его “Синяя птица” – не тот же ослепительный мистицизм быт бельгийского крестьянина?...” И здесь то же “ощупывание” через “быт”, когда мистицизм “Синей птицы” оставлен Клюевым далеко позади, и определение его как “бытового поэта” не вызывает ничего, кроме горькой усмешки. Не могла не привлечь его настороженного внимания и следующая фраза, касающаяся Есенина: “Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделяя лучшее в них, но не увлекаясь никакими футуристическими зигзагами...” Это “нарасхват” тревожило больше, чем обнадёживающее “не увлекаясь”. А что касается Северянина...

Через год в стихотворении “Оттого в глазах моих просинь...”, посвящённом Есенину, Клюев обыгрывает “гипписихину” параллель с “каменным” поэтом применительно к себе самому в контексте всего пережитого в столичных литературных кругах.

*Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край,
Там Микола и светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай.*

*Прихожу. Вижу избы-горы,
На водах стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про “Сосновый звон” и скиты.*

*Мне учёные люди сказали:
“К чему святыя слова?
Укоротьте поддёвку до талии
И обузьте у ней рукава!”*

*Я заплакал “Братскими песнями”, —
Порешили: “в рифме не смел!”
Зажурчал я ручьями полесными
И лесные были пропел.*

*В поучение дали мне Игоря
Северянина пудренный том.
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.*

(О “задетых крылом смерти” невольно думается с какой-то жутью, если вспомнить о способности Клюева прозревать грядущее, о его мистических видениях, о строках из его письма Брюсову, написанных полутора годами ранее: “Как-то по зиме я видел во сне Ивана Коневского — будто всё торопится идти к Вам. Я рассказываю ему про его книгу, а он спрашивает: “И во храме сумрака читали?” — и подаёт мне верёвку, и я знаю, что верёвка Ваша — белая, кручёная, финской работы. Только, говорит, ему (т. е. Вам) не покажите...” Коневский утонул, а Брюсова через 10 лет после этого письма ожидал свой конец — не от верёвки, а от шприца с морфием.)

Клюев внимательно читает всё, приходящее ему в руки, касающееся не только его самого, но и “родимого” Сергея. “Нас не прельщают объяснения в любви к природе, былинкам, золотым главам церковей — мы предпочитаем даже малопонятные, но вызывающие колоритное представление “щипульные колки” Есенина. Замечательно, что и самородки-поэты нашего времени начали с подражания литературным, неотчётливо даже воспринимаемым образцам, а после только впали в конкретность. Появилась особая даже — не народная, а “губернская” — поэзия. В этом объяснение и характера, и успеха Клюева и Есенина” (Лазарь Берман в “Голосе жизни”). От восторгов по поводу поэзии молоденького собрата, который якобы “прежде всего “видит”, а потом уже чувствует, скажем даже... чувствует и осознаёт он гораздо меньше, чем видит” (З. Бухарова), и от сопоставлений с футуристами и Игорем Северяниным уже рябит в глазах. Он пишет Есенину письмо, многократно цитируемое, которое обращает на себя внимание уже своим началом: Николай осторожно и деликатно пытается подойти к будущему выстраиванию отношений — реакция Есенина для него дороже собственных устремлений: “Голубь мой белый (как тут не вспомнить “бельцов”! — С. К.), ты в первой открытке собирался о многом со мной поговорить и уже во втором письме пишешь через строчку и то вкратце — и на мои вопросы не отвечаешь вовсе. Я собираюсь в Петроград в конце августа, и ты, может быть, найдёшь что-либо нужным узнать про тебя, но я не знаю, что тебя больше затрагивает, и беру мелочей, а нужное и полезное тебе упусти...” И всё же — слишком велик позыв сразу высказать главное — тревогу за “голубя”, за его жизнь в литературном Петрограде, за его светлую голову, которой впору закружиться от вылитых на неё похвал.

“Ведь ты знаешь, что мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нём и что в этом огороде есть немало ядовитых и колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здоровья как духовного, так и телесного. Особенно я боюсь за тебя: ты как куст лесной щипицы, который чем больше шумит, тем больше осыпается. Твоими рыхлыми драчёнами объелись все поэты, но ведь должно быть тебе понятно, что это после анааносов в шампанском. Я не верю в ласки поэтов-книжников и пелёгать их тебе не советую. Верь мне. Слова мои оправданы опытом. Ласки поэтов — это не хлеб животный, а “засахаренная крыса”, и рязанцу, и олончанину это блюдо по нутру не придёт и смаковать его нам прямо грешно и безбожно. Быть в траве зелёным, а на камне серым — вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твёрдой, между тем, как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в ладоши в какой-нибудь “Бродячей собаке”, где хлопали без конца и мне и где я чувствовал себя наименее счастливым существом из земнородных...” Обо всём хочет предупредить Клюев “голубя белого” сразу: и о шприцах с морфием и кокаином, которые заменяются на время “наркотическим” поглощением стихов его и Есенина — когда общение идёт не ради общения, не ради познания, усвое-

ния незнаемого, не ради открытия новой красоты — а лишь ради самоуслаждения; и о соответствующих нравах в петроградских литературных кругах, где “салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества” (больно уж напоминало многое Ключеву в иных литературных салонах отношение к нему, как к “экзотическому зверю” — по образу и подобию отношения богатых крепостников к своим одарённым крепостным): “Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишья в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: “Да, хорошо быть крестьянином”. Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе всё, что мы с тобой должны ненавидеть и чем обижаться кровно. Видите ли, не важен дух твой, бессмертное в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам Смердяков, заговорил членораздельно. Я дивлюсь тому, какими законами руководствовались редакторы, приняв из 60-ти твоих стихотворений 51-но. Это дурная примета, и выразить её можно лишь фабричной поговоркой “За горло и кровь сосать”, а высосавши, заняться тщательным анализом оставшейся сухой шкурки, чтобы лишний раз иметь возможность принять позу и с глубокомысленным челом вынести решение: означенная особь в прививке препарата 606-ть (сальварсан — средство против сифилиса. — С. К.) не нуждается, а посему изгоняется из сонма верных...”

Чуть поостыв, предупредив обо всём, о чём сразу же собирался, Ключев снижает тон — переходит к лечащим душу пейзажам родного Севера и — по контрасту — к хорошо знакомой ему Рязани: “Мне очень приятно, что мои стихи волнуют тебя, — конечно, приятно потому, что ты отгулева, где махотка, шёлковые купыри и щипульные колки. У вас ведь в Рязани — пироги с глазами, — их ядять, а они глядеть. Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди, от них я вынес братские песни. Напиши мне, как живёшь, какое ваше село — меня печалили рязанские бесконечные пашни — мало лесов и воды, зимой всё, как семикопечным коленкором потянуто. У нас на Севере — воля, озёра гагарьи, ельники скитами украшены... О, как я люблю свою родину и как ненавижу Америку, в чём бы она ни проявлялась. Вот нужно ехать в Питер, а я плачу горькими слезами, прощаясь с рекой окуньей, с часовней на бору, с мошничьим перелётом, с хлебной печью... Бога ради не задержи ответ. Целую тебя, кормилец, прямо в усики твои милые...”

В начале сентября Ключев приезжает в Петроград с рукописью новой книги стихов — “Мирские думы”. 18 числа того же месяца подписывает договор с издателем М. В. Аверьяновым на издание “в количестве трёх тысяч штук экземпляров за сумму двести пятьдесят рублей” — и сто двадцать пять рублей получает наличными. А 1 октября приходит на Головинскую улицу на заседание литературного “Кружка Случевского” к Иерониму Ясинскому по приглашению Городецкого и Измайлова. На этом вечере он впервые встречается с Борисом Садовским, Фёдором Фидлером — и Пименом Карповым.

Через много лет Пимен вспоминал в беллетристических мемуарах о своём пребывании в доме Ясинского: “Я ещё не был достаточно обтёсан и извещен, чтобы с суконным рылом втираться в калашный ряд и претендовать на свою долю пирога. Но нет-нет да и заглядывал туда незванным гостем (а незванный гость, как известно, хуже татарина). “Генералы” и старые поэты — это были все маститые — Бальмонт, Фёдор Сологуб, Тэффи, Уманов-Каплуновский, Зинаида Гиппиус, Мазуркевич и много других — смотрели на меня, как на туземца. Кое-кто советовал даже поступить в младшие дворники или в трубочисты, чтобы иметь свой хлеб и не подавиться...”

Здесь есть определённая доля лукавства. После публикации романа “Пламень” и скандала, которым сопровождался выход этой книги, Карпов не мог пожаловаться на “недостаточную известность”. Но факт остаётся фактом: он в самом деле не чувствовал себя “своим” в этом обществе, несмотря на уже образовавшийся достаточно широкий круг знакомств в литературном мире. Психологически вполне объяснимо, что он потянулся к такому же, по его выражению, “туземцу” — Ключеву, чей колоритный портрет описывал десятилетиями позже:

“Одевался он в пестрядинную, набойчатую синюю рубаху, в домотканую суконную чуйку — поверх рубахи, — обувался в смазные сапоги бутылками, волосы стриг в скобку, носил старинный серебряный крест на груди и дёргал

длинные, как у извозчика или как у моржа, усы. И так как он был мудрец и мастерски декламировал сильные свои стихи, то “генералы” снисходили к нему и его поощряли. . .” Слова Клюева, обращённые к нему, Пимен запомнил и передал если не в полной точности, то во всяком случае в общей мысли и в общем настроении. Клюев, так же поначалу потянувшийся к нему, мог обратиться с сокровенным:

— А не кажется ли тебе, землячок, что мы находимся на неведомой какой-то планете. . . и учимся мудрому молчанию. . . А чёрт дёргает нас. . . трепать языком, блудным словом? И чёрт этот повесит-таки нас потом за язык на железном крючке! . . . Все эти неореалисты, символисты, футуристы, ничевоки (ничевоков, появившихся лишь после революции, Карпов “приклеил” сюда ошибкой памяти. — С. К.) — это порождение чёрта! . . . Уйдём, землячок, от сраму! . . .

“Ханжество его меня коробило, — писал Карпов, — да, по-видимому, Нирвана распростёрла свои крылья и над ним — мы не противились ей, не противоречили друг другу. Молча и потихоньку поднимались мы вдвоём и выходили в ночной жасминный сад. Там преисполнялись молчением — себе во вред; это послужило поводом к обвинению нас в зазнайстве”. Понятно, что “ханжество” и “вред” — это уже позднейшие наслоения, продиктованные чувством отчаяния человека, стремившегося к подлинному признанию, и так его и не обретшего, а так же горечью от своего литературного изгойства, смешанной с некоторой завистью к более “удачливому” сотоварищу. На самом деле им было о чём поговорить. Они оба — выходцы из староверческих семей, принимавшие участие в крестьянском революционном движении и подвергавшиеся преследованию полиции — были в своём роде “братьями” и по “музе”, и по “судьбам”. Карпов вспоминал рассказы Клюева и о послушничестве в Соловках, и о тюремном “узилище”, и о солдатской казарме. Оба могли друг другу долго рассказывать и о странствиях по Руси, и о пребывании у дружцов — Карпов вспоминал об этом в ещё одной своей автобиографической книжке “Верхом на солнце”. . . Подлинного сближения всё же так и не возникло, хотя на первых порах их тяга друг к другу была очевидной, при том, что Пимен, соблазненный тогда инструментовкой и образностью символистов, не принял, как он сам писал, “народных” мотивов” в поэзии Клюева, которые для него звучали “фальшью, подделкой”.

А тогда — вспоминали Льва Толстого (Карпов рассказывал о переписке с ним), делились впечатлениями о литературной современности, обсуждали виденное и читанное. Карпов впитывал всё в себя, как губка, рассказывал о Блоке, о Грине, о Северяnine, передавал свои впечатления от “Бродячей собаки”. . . Клюев, уже прошедший многие искусства, “не противоречил”. Было ему что вспомнить и рассказать и о Блоке, и о других. Но этот приезд в Питер для него был не поводом для воспоминаний. Сейчас и здесь должно было решиться слишком многое.

Он уже известил Есенина о своём приезде в Петроград. В последнем письме написал, что “смертельно” желает повидеться “с дорогим и любимым” и тут же приписал ещё одно предупреждение:

“Я слышал, что ты хочешь издать свою книгу в “Лукоморье” — это меня убило: преподнести России твои песни из кандалного отделения “Нового времени”!”

А ведь в “Лукоморье” книжку Есенина сватал Городецкий, как сватал туда же и Александра Ширяевца.

На квартире у Городецкого на Малой Посадской Клюев и встретился с Есениным, видимо, заранее предупреждённый о приходе туда “белого голубя”.

* * *

Городецкий в позднейших воспоминаниях о Есенине писал: “. . . Мне Есенин сказал, что только прочитав мою “Ярь”, он узнал, что можно так писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и образность уже литературное искусство. . .” Это писалось уже в середине 1920-х годов, после гибели Есенина, когда Городецкий всеми силами стремился засвидетельствовать свою “лояльность” и своеобразно каялся в некогда овладевшем им “подходе, окрашенном своеобразной мистикой и стремлением к стилизации”. А кроме того — настоятельно акцентировал, что именно он, Городецкий, к которому

Есенин пришёл “с запиской от Блока”, стал для молодого поэта ориентиром и путеводной звездой. “Стихи он принёс завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские “прибаски, канавушки и страдания”... Эта идиллическая картина как нельзя лучше, по мысли Городецкого, контрастирует с описанием завязавшихся ключевско-есенинских отношений: “Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он и познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы... Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера. Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в своё время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильнее всех нас, он крепче всех овладел Есениным...”

Симптоматично это: “...будучи сильнее всех нас”. Сам же Городецкий проговорился – откуда эта сила: от “крепкого мировоззрения” и “уклада жизни”. Мировоззрения и уклада, непонятного и самому Городецкому. Отсюда и страх, охватывающий при всё большем приближении. Поиграть с народным творчеством, как с игрушкой, не касаясь его потаённых мировоззренческих глубин, можно до поры до времени. А Городецкий проявлял себя весьма азартным игроком на этой почве.

Стоит вспомнить фразу из первого письма Есенина Клюеву: “В “Красе” я тоже буду”. Это литературное объединение было создано по инициативе Городецкого весной того же 1915 года – и название было заимствовано у Достоевского, чьи слова “Красотою мир спасётся”, вырванные из контекста, стали чрезвычайно популярны в интеллигентской среде в те военные годы. Слова героя “Идиота”, смертельно больного Ипполита, которые он приписал князю Мышкину, стали приписывать самому Достоевскому – и никто не желал вспомнить других слов из другого романа – “Братья Карамазовы”: “Красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей”.

“...Будущий Антихрист будет пленять красотой. Помутятся источники нравственности в глазах людей”, – писал Достоевский в набросках к роману “Подросток”. Эти пророческие слова имеют самое прямое отношение к эпохе расцвета русского модернизма в начале XX века, а особенно – к предвоенным и военным годам.

Одновременно процветала эстетизация безобразного – в процессе оттаивания от рафинированной и утончённой красоты “проклятья заветов священных”. Конкретное воплощение она обретала в словесных и живописных художествах футуристов. Здесь уже ни о каких “заветах” ни знать, ни помнить никто не желал.

...Под маркой “Красы” вышла одна-единственная книжка – отдельное издание стихотворения самого Городецкого, посвящённого А. С. Пушкину, тиражом 500 экземпляров, в которой была объявлена весьма солидная программа последующих изданий: предполагалось выпустить литературный сборник “Краса” с публикацией “Калевалы” в переводе В. Юнгера, также предполагалось поместить “Священные знаки” Николая Рериха, стихотворение Вячеслава Иванова “Замышление Бояна”, представляющее собой вариацию на зачин “Слова о полку Игореве”, маленькую поэму Есенина “Ус”, герой которой – один из сподвижников Степана Разина (тогда это произведение носило название “Усильник”), стихи Бориса Верхоустинского, Сергея Клычкова, Александра Ширевца, а также статью Ильи Репина “Как учить народ живописи”.

В своё время Городецкий писал: “Для меня вершиной достижений являлось слияние народной поэзии с литературой в форме предельного раскрытия символов, которое есть мифотворчество в терминологии Вяч. Иванова”. Сам же Вячеслав Иванов, прочтя новый сборник Городецкого “Русь”, писал ему в достаточно уничижительном тоне: “Не думал я, что так легко, и небрежно, и поверхностно ты отнёсёшься к великой задаче внушить народу несколько лёгких намёков. Ведь я-то верил в тебя не на шутку, и не таким народным певцом рисовала мне тебя моя влюблённая мечта”. Тем не менее все они,

обуреваемые идеей воскресить гармонию и красоту, лежащую, по их представлению, в жизни, что воплотила славянская мифология, покрытая православленным колером, жаждали внести эту гармонию и в современную литературу, и в современную жизнь, взрываемую и разламываемую войной. “Все были талантливы, – вспоминал Городецкий, – все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня верховодил в этой группе Алексей Ремизов, и не были чужды Вячеслав Иванов и художник Рерих. . . Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к бытине и частушке был у всех нас. . .” Именно “нечуждые”, как аккуратно написал в 1926 году Городецкий, Вячеслав Иванов и Рерих должны были, по его идее, стать центральными фигурами “Красы”, а “крестьянские” поэты представлять нечто вроде “рядового воинства”. Рериху в день двадцатипятилетнего юбилея творческой деятельности Городецкий преподнёс стихи – “Хор красок”, воспеваящий художника.

*Громко грядем: слава, слава,
Слава Рериху средь нас!
Мы — прекрасная оправа,
Он — сверкающий алмаз!*

И далее идёт переключка семи красок с палитры живописца, каждая из которых пафосно славит его на свой лад:

*Охра: Он в песках дремучих, вещей
Разыскал Красы кремьнь,*

*Кадмий: Солнце древнее в нём блещет,
Мирозданья первый день.*

*Сиена: Создала его, сгорая,
Как Адама, мать-земля,*

*Лазурь: Чтоб принёс он сердце рая
К нам на русские поля!*

И в том же духе звучат голоса “Кармина”, “Копоти” и “Сурика”.

О Рерихе и о его творческой связи с Клюевым – разговор немного впереди. Пока же обратимся к строкам из рериховского сочинения “Подземная Русь”, где художник, призывавший “изучать старину”, “узнать и полюбить Русь”, пишет о Русском Севере в тональности, органично совпадающей с тональностью иных клюевских писем:

“Пусть Север кажется беднее других земель. Пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нём знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озёра задумчивы. Северные реки серебристые. Потемненные леса мудрые. Зелёные холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны. Сами варяги шли с Севера. Все ищем красивую древнюю Русь”.

Все и каждый по-своему искали. И Городецкий, и Вячеслав Иванов, и Рерих. Клюев, нашедший и обретший, нашёл и обрёл того, кому мог передать обрётённые сокровища. С Есениным после первого же знакомства он просто не расставался.

Он вместе с Есениным и Фидлером гостит у Измайлова. От него Фидлер привозит Николая и Сергея к себе домой, где те внимательно рассматривают литературную коллекцию, собранную Фёдором Фёдоровичем. Об этом гощении хозяин дома оставил примечательную дневниковую запись: “Клюев. . . живёт со своим 75-летним отцом в избушке на берегу реки; он берёт из неё воду, готовит еду, стирает бельё, моет полы – словом, ведёт всё хозяйство (так рассказывал ему Клюев. – С. К.). Не курит, но ест мясо (в его забытой Богом деревне не растут даже огурцы и капуста) и пьёт пиво (у меня). В юности он носил на теле вериги; на мой изумлённый вопрос, для чего он это делал, ответил просто: “Для Бога”. Увидев у меня обрамлённый автограф Гей-

не, он обратился к Есенину и сказал ему с упрёком, относившимся, казалось, не только к Есенину, но и к нему самому: “Из семи строк сделано четыре! Смотри, как люди писали!” Оба восхищались моим “музеем” и показались мне достаточно осведомлёнными в области литературы. Взглянув на гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: “Ницше!”... Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам”.

В альбоме Фидлера поэты оставили свои автографы. Клюев написал: “Автограф Гейне, трубка Пушкина, вторая часть “Мёртвых душ” с заметками Гоголя и моя брэнная подпись! – Приходится верить в чудеса и в наш век железа и лжи. На память и жизнь бесконечную дарю малое за большое Фёдору Фёдоровичу”.

А 10 октября на квартире Городецкого происходит совещательное собрание нового общества “Страда”. Председателем общества был избран Иероним Ясинский, товарищем председателя – Городецкий, членом-распорядителем уже хорошо знакомый с Есениным литератор Михаил Мурашов, секретарём – актёр Суворинского Малого театра В. Игнатов. Почётные члены общества – Репин, Шаляпин, Короленко, Бальмонт – были призваны придать бóльшую авторитетность и вес новому объединению. “Краса” органично влилась в “Страду”, призванную преодолеть разобщённость между литературными “верхами” и “низами”, как формулировал эту задачу Ясинский: “Полному окрылению души русского народа препятствуют ещё разные обстоятельства, между прочим зависящие и оттого, что верхи не знают низов или имеют о них устарелые или чересчур сентиментальные представления”. В первом сборнике “Страды” он специально отмечал, что “живое творческое благородное русское слово должно преобразовать разнообразные и почему-либо враждующие между собою духовные, сословные и расовые русские стихии неустойчивой природы в великое, единое и вечное, неколебимое целое, одушевляемое одинаковыми любовными идеалами равноправного во всех отношениях общежития”. Газета “Биржевые ведомости”, где в это время регулярно печатаются Клюев и Есенин, поместила извещение о новом литературно-художественном обществе, цель которого “служить мостом между городом и деревней, с одной стороны, оздоравливая город притоком свежих умственных сил из крестьянской среды, с другой – всячески способствовать пробуждению народной души в деревне”.

“Враждебность” стихий, о которой писал Ясинский, впрочем, обнаружилась довольно быстро внутри самой “Страды”. Городецкий в любом из своих начинаний не собирался быть на втором плане. Созидать “Страду” должен был, по его мысли, он и только он. И роль “первой скрипки” настойчиво брал на себя. “Дорогой Илья Ефимович, – писал он Репину. – Я учредил общество содействия развитию народной литературы под названием “Страда” и зычно зову Вас в правление...” “Народнический” характер, который настойчиво стремился придать Городецкий новому объединению, далеко не всем членам был по душе. Явное молчаливое сопротивление Сергей Митрофанович не мог не ощущать в том, на кого он в своё время сделал самую большую ставку – в Клюеве. Напряжение всё больше усиливалось – и с целью разрядки и выноса “себя любимого” на первый план как главного организатора, “души” всего предприятия, автор “Яри”, “Руси” и “Четырнадцатого года” организовал вечер “Краса” в зале Тенишевского училища. В программе обозначалось выступление самого организатора, Ремизова, Есенина, Клюева, а также стихи Клычкова, Ширяевца и Павла Радимова в исполнении актрисы А. Бел-Конь-Любомирской.

Зоя Ясинская, дочь председателя “Страды”, позднее вспоминала, что “за несколько дней до вечера... возник сложный вопрос – как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своём обычном одеянии. Для Есенина принесли взятый напрокат фрак. Однако он совершенно не подходил к нему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шёлковую голубую (не голубую, а белую. – С. К.) рубашку, которая очень шла ему. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках... напоминавшие былинный стих “возле носка хоть яйцо прокати, под пятай хоть воробей пролети”...” Наряд Есенина дополнила гармонь-трёхрядка.

Он любил играть на гармонии и петь частушки в столичных компаниях, куда его звали. Со смехом рассказывал Клюеву об исполнении частушек у Гип-

пиус и у Кузмина: “Стихи слушали в пол-уха, а от частушек млели”. Кузминская реплика особо запомнилась: “Стихи были лимонадцем, а частушки – водкой”. Вспоминал, как, слегка раздосадованный, запел деревенскую нецензурщину, дабы пронять собравшихся. Клюев хмурился – сбывалось всё, о чём он предупреждал дорогого товарища... А Есенину всё было – нипочём. Растягивая меха, он запевал только что сочинённые частушки про новых друзей:

*Шёл с Орехова туман,
Теперь идёт на Зуева.
Я люблю стихи в лаптях
Миколая Клюева.*

*Сделала свистулекку
Из ореха грецкого.
Веселее нет и звонче
Песен Городецкого.*

С гармошкой он и появился на сцене на Моховой.

Позднейшие описания вечера “Красы” носят в значительной степени шаржированный характер. Владимир Чернявский, ставший добрым питерским знакомым, вспоминал, что “в основу этого нарочито “славянского” вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера; публика и печать не приняли его всерьёз...” Сидевшие в публике Георгий Иванов и Пимен Карпов оставли куда более красочные описания.

“На эстраде – портрет Кольцова, осенённый жестяным снопом и деревянными вилами. Внизу – два “аржаных” снопа (от частого употребления порядочно растрёпанных) и полотенце, вышитое крестиками. Фон декорирован малороссийской плахтой из кабинета Городецкого... Должно быть, чтобы ещё ближе перенести слушателей в обстановку русской деревни, – обычный распорядительский колокольчик отменяется. Вместо него – какой-то не то гонг, не то тимпан. С бубенцами... Городецкий выходит на эстраду и ударяет в этот тимпан. Вид у него восторженно сияющий, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или “алая” косоворотка... Внимательный глаз различит под косовороткой очертания твёрдого пластрона... Городецкий ударяет в свой “тимпан” и приглашает к вниманию... Зелёная плахта с малиновыми разводами откидывается. Выходит Есенин... Золотой кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щёки нарумянены. В руках – о, Господи, пук васильков – бумажных...”

Никаких “васильков” и в помине не было, но для Георгия Иванова, карикатурившего всё, что попадалось под жернова его памяти, и эта сочинённая “деталь” была впору. Концентрация яда, капавшего с его пера, многократно увеличилась, когда он дошёл до Клюева – неизменно называемого “Николаем Васильевичем”: “Клюев спешно обдёргивает у зеркала в распорядительской поддёвку и поправляет пятна румян на щеках. Глаза его густо, как у балерины, подведены. Морщинки... вокруг умных холодных глаз сами собой расплываются в деланную, сладкую, глуповатую улыбочку.

– Николай Васильевич, скорей!..

– Иду... – отвечает он нараспев и истово крестится. – Иду... только что-то боязно, братишечка... Ну, была не была. Господи, благослови...

Ничуть ему не “боязно” – Клюев человек бывалый и знает себе цену. Это он просто входит в роль “мужичка-простачка”. Потом степенно выплывает, степенно раскланивается “честному народу” и начинает истово на о:

*Ах, ты, птица райская,
Дребезда золотопёрая...”*

Пимен Карпов до такого сгустка злобы не доходил, но и он не отказал себе в соблазне через много лет недобро посмеяться над внешним видом и манерой исполнения участников того вечера. “...Закопёрщиком-конферансом вышел Сергей Городецкий, одетый под стрюцкого в клетчатые штаны.

За ним – курносый дьякообразный Алексей Ремизов в длиннополом сюртуке. А дальше – Клюев в сермяге, из-под которой топорщилась посконная рубаха с полуфунтовым медным крестом со старинной цепью на груди. И под конец – златокудрый Лель – Есенин в белой шёлковой рубахе и белых штанах, вправленных в смазные сапоги. Трёхаршинная ливенка оттягивала ему плечи. Провыли все четверо из своих стихов что-то и ушли...” Карпов вспоминает, что публика, не прочитав и не поняв слова “краса”, требовала какого-то “Краса” – не то пианиста, не то гармониста. И дождалась Есенина, который “запузырил с кандебобером” “односложный хриплый мотив” на гармошке. Под хохот зала и под свой собственный стон “провал!” Городецкий утащил Есенина со сцены, когда Клюев, “дрожа от боли (сердце, сердце...) тащился уже из артистической к выходу...”

“Провала” на самом деле не было. Но впечатление от вечера у публики осталось весьма противоречивое. Восторженный отзыв дала в “Петроградских ведомостях” уже известная нам Зоя Бухарова:

“Для того, чтобы дать нам сейчас в искусстве что-нибудь прекрасное, крупное, радующее, необходимы особое понимание современности, неразрывность её с предлагаемыми художественными ценностями, – необходим новый, свежий действенный подход к последним. Задача не из лёгких... Но она была осуществлена перед немногочисленной, правда, но благоговейной, чуткой и признательной аудиторией литературного вечера русских поэтов “Краса”.

По утверждению одного из его инициаторов Сергея Городецкого, слово это вызвало в публике явное недоумение. Многие наввно спрашивали: “Что такое “Крас”, в честь или память которого состоится вечер?!” До такой степени отошли мы от корней нашего богатейшего языка, до такой степени изменили его истине, его ясности, его чистоте!.. Лишь немногие из художников наших сохранили рыцарскую верность красе родного языка... К таковым можно причислить выступивших на вечере тещами своих произведений поэтов-крестьян Сергея Есенина и Николая Клюева...

Оба этих художника пришли к нам из деревни и принесли в чёрствый прозаический город сослистое дыхание лесов, мирную трудовую ясность полей, забытую правду крестьянского быта. В сокровищнице их песен скрыта жемчужина грядущего художественного торжества России, и, по словам того же Городецкого, все мы, на вечере присутствовавшие, таинственно приобщаемся к великому чуду подлинного народного творчества, долженствующего однажды укрепить за собою новые, навек нерушимые пути. Когда-нибудь мы с восторгом и умилением вспомним о сопричастии нашем к этому вечеру, где впервые предстали нам ясные “ржаные” лики двух крестьян-поэтов, которых скоро с гордостью узнает и полюбит вся Россия...

Клюев и Есенин, совместившие каждый, сообразно характеру своего таланта, простоту народную с остротой культурной мысли, положили первый камень не только для храма будущего сияющего, очищенного от всех мутных наслоений русского искусства, но и к тому, едва ещё намечаемому, столько раз уже разрушенному зданию действительного, необманного, незыблемого слияния народа с интеллигенцией... Теперь к священнейшему и заветнейшему этому стремлению пролегла ещё одна стезя, на которую уже радостно вступили мы, слушавшие, утвердившие и полюбившие двух певцов-философов русской деревни: двух – юного и зрелого – “Божьей милостию” поэтов”.

Более сдержанно, с явным неприятием внешнего облика выступавших, отозвался на вечер “Красы” Борис Садовской в “Биржевых ведомостях”: “С. Городецкий, прочитавший на вечере несколько своих новых стихотворений, по-видимому, возлагает на народную поэзию чрезмерные надежды. Конечно, отчасти он и прав. После бездушной лжепоэзии “эстетов” из “Аполлона” и наглой вакханалии футуризма отдыхаешь душой на чистых, как лесные зори, вдохновениях народных поэтов. Но будущее русской поэзии принадлежит не им. Только в союзе с наследниками Пушкина и Фета возможен действительный шаг вперёд. Иначе “народная поэзия” может неожиданно оказаться всего лишь самовлюблённым маскарадом. Неприятные оттенки этого маскарада замечаются уже в самой внешности выступающих перед публикою Тенишевского училища “певцов” и “дударей”. Дегтярные сапоги и парикмахерски завитые кудри дают фальшивое впечатление пастушка с лукутинской табакерки. Этого мнимого “народничества” лучше избегать”.

Но это ещё мягко звучало по сравнению с другими отзывами, в частности, с отзывом Михаила Левидова, чья статья “Народная” поэзия” появилась в “Журнале журналов”. Кавычки в заголовке уже настраивали на соответствующий тон.

“Новые артисты подвизаются на арене литературного балагана: Клычков, Клюев, Есенин, Ширяевец (Клычков и Ширяевец в вечере не участвовали, но достаточно было и того, что их стихи прозвучали со сцены. — С. К.). Публике нашей, пресытившейся модернизмами, эстетизмами и футуризмами, нужна новая забава; забаву эту она найдёт в сусальном лживом народничестве Городецкого и братии, кстати, так безупречно патриотически настроенных... Эти дудари и певуны играют недостойную их таланта роль потешников, скорморохов, забавляющих скучающую петроградскую публику, ударившуюся в сладкое народолюбие. Конечно, со временем надоест и эта забава, перестанет потешать и этот очередной фокус петроградской литературы. Клычковы, Клюевы и Есенины не страшны для истинной поэзии, далёкой от великосветских салонов, чуждой поискам “народных” слов. Если они и вправду по-настоящему талантливы и имеют что сказать, знают — как сказать, — то и они уйдут от своей “народнической поэзии”, вольют свои ручейки в океан поэзии общечеловеческой”.

(Как понимал “общечеловеческую поэзию” Левидов, продемонстрировала напечатанная им после революции в журнале “Леф” вполне восторженная “О футуризме необходимая статья”.

“...Осуществляя идею революции как обнажение приёма, футуризм не только обнажил публичный приём, но и превратил его в проститутку, сделал приём доступным всем и каждому... Итальянский футуризм ставит ставку на сильного. Прекрасно! Сейчас этим сильным кажется фашизм. Завтра этим сильным окажется революция. Всякое движение в мире, ставящее сейчас ставку на сильного, ставит её объективно на революцию, каковы бы ни были субъективные его устремления. Теперь время закладывать фундамент фабрики оптимизма... Фабрика оптимизма строится сейчас в России. Расчётливого, умного, рабочего оптимизма. Одно крыло фабрики — на свой страх и ответственность — сооружают футуристы. Это то крыло, где будет производиться для массового потребления оптимистическое искусство. Машинным способом воспроизводиться, лучшими техническими приёмами. Вдохновение будет выдаваться ежедневным пайком, строго отмеренными порциями — работникам этого крыла... Если делаем и организуем жизнь, — неужели не сделаем, не сорганизуем искусство? Неужели чижики помешают?..”)

А в журнале “Рудин” под карикатурой, изображавшей участников вечера в виде сидящих на ветке птиц, где Есенин был представлен нахохлившимся воробьём, а Клюев — совой, можно было прочесть издевательский “отчёт” некоего Л. Храповицкого:

“Вот оно “просыпается, красовитое слово народное”. Назло “шептунам” и “фыркателям” приходит оно, чтобы занять подобающее место среди беспорядочно бегущих толп.

Сюда, “наследники Баяновы”, собирайтесь к “думным соснам”, под крыло “сирин-птицы”, к “святовейным платам юродивых угодников”.

Напрасно “изгиляется Вильгельмище”, сидя за буераками. Пришёл час, дрогнула “скуфья стопудовая”, блеснули “отмычки золотые во персты сахарные”, во весь рост поднялась Матушка-Россия... .

По городам и сёлам ограбленным пройдут Баяны добросердные, “пытливцы остроглазые”. На земле, кровью омоченной, вырастут “часовенки расписные, с петушками и зайчиками на крылечке узорном”... .

Не надо слов тревожащих, не надо надежд мучительных — в сладком умилении, в тихой пристани юродивого благодушества — вечный покой и вечное счастье!”

Подробности, связанные с этим вечером и реакцией на него, тем более существенны, что и сами его участники, особенно Клюев и Есенин, а также руководители “Страды” не могли не понимать: Городецкий не просто пересолил. В неуёмной жажде лидерства, что сочеталась с поверхностно им понимаемым “народничеством”, он по сути исказил цели и задачи общества. Впечатление от “Беседного наигрыша” и “Избяных песен”, от есенинских стихов, что составят первую книжку “отрока вербного” — “Радунца”, — у многих наложило на впечатление от ведения вечера, от внешнего вида поэтов, тем па-

че, что в редакциях газет и журналов через одного сидели люди, которых воротило от самих слов “Русь”, “народ”, “патриотизм”.

Видимо, у Игнатова и Ясинского состоялась беседа с Клюевым, который со всей откровенностью высказал всё, что думал о Городецком и его деятельности. После чего они поговорили напрямик с самим Сергеем Митрофановичем. Оскорблённый Городецкий написал Ясинскому письмо, где не стеснялся ни в выражениях, ни в личных выпадах, придравшись к пожеланию видеть в “Страде” поэта Дмитрия Цензора, которого он сам там видеть не хотел. Но ясно, что суть расхождений была не в этом достаточно мелком пункте.

Означенный документ тут же стал достоянием остальных членов “Страды”. Притом, что Городецкий не унялся и всерьёз планировал своё участие в следующем вечере, посвящённом Клюеву и Есенину. “На Клюева и Есенина письмо Городецкого к Вам произвело ужасное впечатление, и они открыто говорят о полной своей от Городецкого отчуждённости, — писал Игнатов Ясинскому. — ...Что захочет сделать Городецкий для этого вечера, пусть делает, но я на него не надеюсь. Серьёзно думаю, что он откажется от всякого в нём участия, и кроме того, он не может говорить от лица “Страды”. Мы ему не доверяем”.

Это писалось уже после вечера самой “Страды” в зале гражданских инженеров, где Клюев читал “Беседный наигрыш, стих доброписный”, Есенин — поэму “Русь”, а Городецкий исполнял свой “гимн “Страды” (“Верны заветной доле, с зарёй мы вышли в поле на песни и труды...”) и где Иероним Ясинский произнёс своё вступительное слово, настроенное резко полемически как против рецензентов, ничего не понявших однажды в увиденном и услышанном, так и против городецкого “народничества”:

“Под народной литературой мы разумею такую литературу, которая создана великими русскими писателями, начиная от Пушкина и кончая Тургеневым, Толстым и другими хорошими современными писателями... Если писатель наиболее ярко выявляет в своих произведениях душу русского народа в её представителях — в крестьянах ли, в дворянах ли — и чистым красивым языком пишет свои произведения, обогащает жизнь русского народа кристальными словами и создаёт незабываемые поэтические образы, он тем самым приобретает полное право на великий титул русского народного поэта и его трудами обогащается русская народная литература”.

Касаясь конкретных заслуг “Страды”, Ясинский счёл необходимым подчеркнуть, что она “успела выдвинуть Клюева с его заонежскими величаво русскими ядрёными поэтическими волхованиями, и дала возможность Есенину в ряде выступлений и критических бесед о нём выработаться и технически развернуться таланту этого гениального юноши, не говоря уже о начинающих писателях другого калибра”.

Все попытки Городецкого утвердить своё первенство кончились ничем. 5 декабря Игнатов писал Ясинскому: “...я готовлюсь к очищению “Страды” от Гор/одецкого/. Не надо его... Я не могу дальше молчать. Его пребывание в “Страде” губительно для неё, и я это докажу. Одним словом, Вы мне верьте, что я действую только для пользы нашей молодой организации...”

Ясинский и не думал возражать. Что же касается Клюева, то ему претил не только городецкий маскарад и городецкое лицемерие. Он чувствовал глухое, всё нараставшее раздражение от покровительственных похвал самого Ясинского, для которого писатели делились на “верхи” и “низы” при всём желании ликвидировать этот разрыв. Позже он вспоминал:

“За меня и за себя Есенин ответ дал. Один из исследователей русской литературы представил Есенина своим гостям как писателя “из низов”. Есенин долго плевался на такое непонятие: “Мы, — говорит, — Николай, не должны соглашаться с такой кличкой! Мы с тобой не низы, а самоцветная маковка на златоверхом тереме России, самое аристократическое — что есть в русском народе”.

* * *

Среди зрителей на вечере “Красы” был и Александр Блок. Ранее, после более чем двухлетнего перерыва он встретился с Клюевым, который предупредил его письмом:

“Дорогой Александр Александрович! Я приехал в град Петра на малое время – уехать вновь года на три, не взглянув на вас, мне тяжело...”

Блок не ждал в то время общения. Он принял один раз Есенина, благожелательно оценил его стихи, но от второй встречи уклонился. Он не принял Ширяевца, приехавшего в Петроград, лишь передав тому через горничную книгу с дарственной надписью, на что Ширяевец чрезвычайно обиделся. Но Клюеву отказать не мог.

Клюев пришёл к Блоку вместе с Есениным – и беседа их продолжалась 5 часов.

“21 октября, – записал Блок. – Н. А. Клюев – в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо”.

Это “хорошо” дорогого стоит, если учесть смутное душевное состояние и увеличившуюся замкнутость Блока в то время. Он отдыхал и понемногу оттаивал во время встречи, слушая рассказы гостей, внимая их стихам.

О Блоке они много и долго разговаривали друг с другом. Клюев поведал свою историю взаимоотношений с любимым поэтом. Есенин в ответ повествовал, как он рвался именно к Блоку – чтобы тот первый услышал его стихи, дал наставления, направил на верный путь. Он мог показать Клюеву и письмо Блока, где тот, обращаясь к Сергею, писал: “За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно в литературе, пожалуй, всего труднее. Я всё это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы болото не затянуло...”

Думается, что в этих беседах они и выработали своеобразную тактику своего дальнейшего поведения. Первоначальные рассказы Есенина в разных домах о том, как он был принят Блоком, не то чтобы не вызывали доверия – но шёлпот за спиной был: дескать, наплёл чего-нибудь парень, обманом пробрался... Этот мнимый “обман” друзья и решили как следует разукрасить: кушайте, господа хорошие! Внимайте, как Клюев прикинулся маляром, пришёл к Блоку стены красить, да песни олонецкие запел, а поэт, поражённый, тут же позвал его к себе. А сам Есенин – так вообще с “чёрного хода” появился, неожиданно-негаданно и – р-р-раз! – к Блоку в кабинет. И – очаровал. И сразу пошёл завоевывать Петроград.

Сочиняли – и сами смеялись. И едва ли думали, что потащится эта “липа” из дома в дом, а потом на полном серьёзе войдёт в мемуарные сочинения... Но как же легко и весело придумывалось!

Блоку было хорошо – и им самим тогда было хорошо от встречи с ним. По-иному сложилось, когда 25 декабря они приехали в Царское Село – в гости к Гумилёву и Ахматовой.

Через много лет Ахматова, разглядывая рисунок Владимира Юнгера, сделанный с натуры 7 октября, рассказывала под запись Александру Ломану: “Вот сейчас, глядя на этот портрет, я невольно вспоминаю те, теперь уже далёкие времена. Именно ТАКИМ приезжал ЕСЕНИН ко мне в Царское Село в рождественские дни 1915 года. Видимо, это было на второй или третий день Рождества, потому что он привёз с собой рождественский номер “Биржевых ведомостей”. Немного застенчивый, беленький, кудрявый, голубоглазый и донельзя наивный, ЕСЕНИН весь сиял, показывая газету. Я сначала не понимала, чем было вызвано это его сияние. Помог понять, сам не очень мною понятый, его “вечный спутник” Клюев.

– Как же, высокочтимая Анна Андреевна, – расплываясь в улыбку и топорща моржовые усы, почему-то потупив глазки, поворковал, да, поворковал сей полудьяк, – мой Серёженка со всеми знатными пропечатан, да и я удостоился.

Я невольно заглянула в газету. Действительно, чуть ли не вся наша петроградская “знать”, как изволил окрестить широко тогда известных поэтов и писателей Клюев, была представлена в рождественском номере газеты... Иероним Ясинский умудрился в один номер газеты, как в Ноев ковчег, собрать всех, даже совершенно несовместимых, не забыв и себя...”

Ахматова вспоминала именно о Есенине – Клюев остался лишь фоном, да ещё как “не очень мною понятый”... Она рассказывала, как Есенин читал “Край родной! Поля, как святцы...”, “Тебе одной плету венки...”, “Шёл Господь пытаться людям в любви...” Специально задержалась на корректной полемике с Есениным: “Он знал мои стихи и, прочитав наизусть несколько отрывков, сказал, что ему нравится – уж очень красивые и “о любви много”,

только жаль, что много нерусских слов. Я парировала “удар” и сказала, что в его стихах много таких русских слов, которые разве что на Рязанщине знают”. И заключила воспоминания об этой встрече симптоматичной фразой: “Есенин и Клюев были для меня /.../ (в машинописной копии текста эти слова на французском языке отсутствуют. — С. К.) и весь склад их мышления мне тогда был чужд”.

Клюев привёл Есенина в дом к Ахматовой по просьбе друга, жаждавшего познакомиться с Анной Андреевной. Как можно понять из её воспоминаний — говорил в основном Есенин. Ни Ахматова, ни Гумилёв к общению особо не были расположены. Клюев — и это опять же читается между строк — был встречен если не холодом, то и без особой сердечности. О разрыве в “Цехе поэтов” они все хорошо помнили. И полемика Ахматовой с Есениным рикошетом била и в Клюева: о вечере “Красы”, об исполнении “Беседного наигрыша” супруги были слышаны, да и последние клюевские стихи не вызывали у них ничего, кроме отторжения. “Чуждость” тогдашней поэзии и Клюева, и Есенина Ахматова лишней раз не преминула подчеркнуть. А тогда — дарение книг с короткими дарственными надписями и почти надменное прощание.

И совершенно иным получилось знакомство ещё с одной известнейшей женщиной той эпохи — великой русской певицей Дежкой Винниковой, известной как Надежда Васильевна Плевницкая.

* * *

“Господа Плевницкие” — так назвал свою статью о вечере “Красы” литератор Николай Лернер, уничижительно сравнивая поэтов с певицей, “русский стиль” которой он не принимал, что называется, на дух.

Познакомились друзья с Надеждой 19 октября на её концерте, где она исполняла свой коронный репертуар, неизменно вызывавший овации зала.

*Помню, я ещё молодухой была.
Наша армия в поход далёкий шла.*

*Вечерело — я стояла у ворот,
А по улице всё конница идёт.*

Печальная протяжная песня о парне молодом, что просил у девушки выпить и снова встретился с ней через много лет, уже израненным генералом, когда та и “вдовушкой была”, и “пятерых я дочек замуж отдала” — сменял вольный и удалой мотив: ухарь-купец, гуляющий на ярмарке, предстал перед публикой во всей своей могучей и страшной красе:

*Стал он на двор лошадей покормить,
Думал деревню гульбой удивить.*

*В красной рубашечке толст и румян
Вышел на улицу весел и пьян...*

И “Лучинушка”, и “Липа вековая”, и “По диким степям Забайкалья...”, и “Среди долины ровныя...” Русская песня, петая на необъятных просторах, покоряла, брала за душу, а голос певицы, мастерство её исполнения лишь усиливали выразительность слога и мелодии.

“Она стояла на огромной эстраде, близко от меня, — писал А. Кугель, — ... в белом платье, облежавшем стройную фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми чёрными волосами, блестящими глазами, большим ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми ноздрями... Она пела... не знаю, может быть, и не пела, а сказывала. Глаза меняли выражение, движения рта и ноздрей были — что раскрытая книга... Говор Плевницкой — самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор... У неё странный оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает пальцы, сцеливши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются...”

Клюев слушал — и не отводил повлажневших глаз.

Уже в эмиграции вспоминала Плевацкая о своём знакомстве с ним.

“После сбора ко мне в уборную пришёл военный министр Сухомлинов...

Тогда же тихой, вкрадчивой поступью пошёл ко мне и поэт-крестьянин Н. Клюев.

Мне говорили, то Клюев притворяется, что он хитрит. Но как может человек притворяться до того, чтобы плакать.

Я пригласила его к себе, и Н. Клюев бывал у меня”.

Им было, о чём поговорить друг с другом. И он, и она пришли к славе и известности из тех самых народных “низов”, что стали объектом пристального внимания столичной интеллигенции. И он, и она в отроческие годы побывали за монастырскими стенами и покинули их и, возможно, Дежка рассказывала Николаю об этой странице своей жизни так же, как написала потом в воспоминаниях: “Мне тогда шёл шестнадцатый... И зачем я выросла, лучше бы так и осталась мне маленькой Дежкой, чем узнать, что и тут, за высокой стеной, среди тихой молитвы, копошится тёмный грех, укутанный, спрятанный. Лукава ты, жизнь, бес полудённый... А может, оттого, что больно глаза заста я стала и душа забунтовала, что судьба звала меня в даль иную... Я теперь вижу, что лукавая жизнь угораздила меня прыгать необычайно: из деревни в монастырь, из монастыря в шантан. Но разве меня тянуло туда чувство дурное? Когда шла в монастырь, желала правды чистой, но почуяла там, что совершенной чистоты-правды нет. Душа взбунтовалась и кинулась прочь...”

Николай рассказывал о своей матери, о горьком своём сиротстве, а Надежда сердечно пыталась утешить, как могла. Она, не любившая петь ни на каких приёмах за пределами сцены (её трясла лихорадка за кулисами от напряжения, а после концерта теряла все силы), здесь, в атмосфере нежной дружеской беседы, негромко заводила протяжное, слышанное и запомненное на родимой Курщине:

*Дунай речка, Дунай быстрая,
Бережёчки сносит.
Размолоденький солдатик
Полковника просит:
Отпусти меня, полковник,
Из полку до дому.
Рад бы я, рад бы отпуститьи,
Да ты не скоро будешь,
Ты напьёшься воды холодной
Про службу забудешь...*

А то задумается — и заведёт неторопливо песню, петую в карагоде Орешкой-разбойником:

*Рассыпался дробен жемчуг, рассыпался,
Подсыпался к красным девкам, к карагоду —
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы, молодушки-молодые,
Приударьте во ладони, приударьте,
Раздразните ревнивых жён, раздразните,
Чтоб ревнивые жёны выходили,
За собой молодых мужьёв выводили,
Поиграйте, красны девки, поиграйте,
Пошутите вы молодушки молодые...*

“Что-то затаённое и хлыстовское было в нём, — вспоминала Плевацкая Клюева, — но был он умён и беседой не утомлял, а увлекал, и сам до того увлекался, что плакал и по-детски вытирал глаза радужным футляровым платочком.

Он всегда носил этот единственный платочек.

Также и рубаха синяя, набойчатая, всегда была на нём одна. Я ему подарила сапоги новые, а то он так и ходил бы в кривых голенищах, на стоптаных каблуках.

Иногда он сидел тихо, засунув руки в рукава поддёвки, и молчал. Он всегда молчал кстати, точно узнавал каким-то чутьём, что его молчание мне нужнее беседы”.

В другой раз Плевицкая вспоминала, как у министра Шварца в присутствии митрополита Владимира Ключев напугал своим чтением старомодных старушек, которые “стали вскидывать лорнетки на поддёвку и голенищи Ключева. Почему светские старушки так всполошились, я и теперь не знаю: напугало ли их деревенское обличие поэта или они думали, что это новоявленный Распутин.

— Чтобы не пугать их, — сказал мне Ключев о старушках, — я больше в салон не пойду”.

Зато министр А. И. Шингарёв не испугался. Он просто плакал горячими слезами, слушая только что написанный “Поминный причит”.

*Покойные солдатские душеньки
Подымаются с поля убойного
До подкустья они малой мошкой,
По надкустью же мглой столбовитую,
В Божьих воздухах синью мерещатся,
Подают голоса лебединые,
Словно с озером, гуси отлётные,
С Святорусской сторонкой прощаются.
У заставы великой предсолнечной
Входят души в обличие плотское.
Их встречают там горние воины
С грознокрылым Михайлом архангелом.
По трикраты лобзуют страдателей,
Изгоняют из душ боязнь смертную,
Опосля их ведут в храм апостольский —
Отстоять поминальную служебку.
Правит службу там Аввакум пророк,
Чтет Писание Златоуст Иван,
Херувимский лик плещет гласами,
Солнце-колокол точит благовест.*

*Как улягутся веи сладкие,
Сходит Божий дух на солдатушек,
Словно тёплый дождь озимь ярую,
Насыщая их брашном ангельским,
Горечь бранных дней с них смываючи,
Раны чёрные заживляючи...
Напоследки же громовник Илья,
Со Ерёмой запрягальником
Снаряжают им поезд огненный, —
Звёздных мерин с колымагами,
Отвезти гостей в преблаженный рай,
Где страдателям уготованы
Веси красные, избы новые,
Кипарисовым тёсом крытые,
Пожни сенные — виноград-трава,
Пашни вольные, бесплатежные —
Всё солдатушкам уготовано,
Храбрым душенькам облюбовано.*

Их ждёт там то же чудо неземное, что и матушку Прасковью — и даром “правит службу им Аввакум пророк”... Всё по его слову из “Жития” назначено...

“Плакал, не стесняясь, Шингарёв хорошими слезами...” По солдатушкам ли убивался — или чуял свою собственную близкую гибель, когда в пореволюционные дни великой смуты будет он заколот штыками на больничной койке — кто знает?

Как-то Ключев привёл к Надежде Есенина. Тот читал стихи, в которых Плевицкая учуяла “подражание Ключеву” (это было, впрочем, не подражание,

а свои вариации на клюевские мотивы — иначе тогда и быть не могло), а потом за обедом стал подтрунивать над Николаем. Тот втягивал голову в плечи, опускал глаза и тихо произносил, как бы про себя:

— Ах, Серёженька, еретик...

Видно, что насмешки Есенина касались сокровенного — их общего жизненного и литературного пути. Сергей рос не по дням, а по часам, всё более ощущал свою “самость”... Но было здесь и другое. И Чернявский, и некоторые другие мемуаристы вспоминали, что излишние проявления нежности Клюева по отношению к Есенину вызывали у последнего приступы отторжения. Объяснение находилось тут же (и бытует по сей день, и автор настоящей книги пошёл однажды у него на поводу): физиологическое влечение, смешанное с ревностью. Как писал Чернявский, “Клюев совсем подчинил нашего Сергуньку”... А дальше — пуще: “С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил об этом Сергей, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настоячивых притязаний “Николая” и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их общего дела”... И доходило до того, со слов Есенина, что “Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый — городской — роман. “Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера (это было во время поездки в Москву. — С. К.), сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить!”

Впрочем, тот же Чернявский тут же делал оговорку: “Повторяю, однако, что в иной — более глубокой — сфере сознания Сергей умел относиться к Клюеву по-другому...”

“Более глубокая сфера сознания”, согласимся, имеет куда большее значение. А что касается остального...

Клюев в своих приступах нежности мог и перегнуть палку — что заставляло Есенина подозревать патологию и соответственно реагировать. Но, думается, всё же суть здесь в ином. И понять это поможет человек, кардинально далёкий от Есенина и тем более от Клюева — ненавистный им футурист, поэт, с которым они познакомились то ли на квартире Фёдора Сологуба, то ли у Юрия Дегена.

“В первый раз я его (Есенина. — С. К.) встретил в лаптях и в рубашке с какими-то вышивками крестиками... Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет своё одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским... Как человек, уже в своё время относивший и отставивший жёлтую кофту, я деловито осведомился относительно одежды:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы, деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны...

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убеждённой горячностью. Его увлёт в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться...

Маяковский был человеком грубым, но не был человеком тупым. Он обладал определённой пронизательностью, о чём свидетельствуют его некоторые проговоры. Такой же проговор таится и здесь: “как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку”... Если убрать уничижительный эпитет, да и вообще проигнорировать всю издевательскую шаржированность данной сцены — придётся признать: определение более чем точное.

Клюев вёл себя по отношению к Есенину именно “как мамаша”. “Мамаша”, которая и поясок завяжет, и рубашку поправит, и волосы пригладит, и окинет пристальным взглядом, как выглядит “сынок”, и обнимет и поцелует лишний раз, и истерику закатит — чтобы не дай Бог не связалось любимое “дитяtko” с порочной девкой... Подобная опека и так однажды становится чересчур обременительной, а уж когда она исходит от мужчины — вообще в голову придёт невеста что, от чего только и отбрыкиваться руками и ногами, да

с насмешкой, смешанной с отвращением, рассказывать об этом приятелям... Но если откинуть разного рода пошлые подозрения – ситуация достаточно серьёзная.

Для Клюева новый облик Есенина не имел ничего общего с повсеместно охватившей “культурное общество” театральностью. В его глазах это был отнюдь не маскарад. Сам великолепный актёр, для которого личины, надеваемые перед публикой, были тяжким и – увы – необходимым гнѐтом, он больше всего ценил именно соответствие внешнего и внутреннего. Поэтический мир Есенина, развивавшийся на его глазах, находил для Николая адекватное воплощение во внешнем облике собрата. Он именно по-матерински (не зря в нём самом усматривалось что-то “бабье”) заботился об этом гармоничном соответствии, которое должно было проявляться во всѐм, включая поведение на людях. Тем более, если у одних подобный стиль вызывает сладенькое умиление, а у других – отталкивание, смешанное чуть ли не с ненавистью. Народный поэт должен нести себя соответственно, учитывая реакцию окружающих и чутко внутри себя реагируя на неё, понимая – кто друг, а кто враг – но не подлаживаясь и не сходя с истинного пути. Ему самому стоило большого труда обрести себя в яркой, чудодейственной и порочной атмосфере литературной столицы, и он делал всё, от него зависящее, чтобы Есенин не потратил лишние силы на преодоление тех ям, которые довелось преодолеть ему самому.

(Поведение Клюева мне во многом стало понятно, когда я познакомился со своим гениальным современником – историческим писателем Дмитрием Балашовым, как никто умевшим своим пером ухватить суть и выписать краски русского XIV–XV века. Все, знавшие его, помнят: он появлялся исключительно в расписной косоворотке, шароварах и смазных сапогах. И никому в голову не приходило усмотреть в этом какой-либо маскарад. Наоборот – неизгладимое впечатление производила абсолютная органика в каждом его движении, слове, детали костюма. Казалось, что он пришѐл от т у д а, где пребывает и общается с давно ушедшими из земного мира, но пребывающими в ином времени и пространстве героями прежних эпох. Появился ненадолго, по необходимости, чтобы потом снова нырнуть в бездонные глубины, уйти за туманную дымку времени...)

Если бы рядом с Есениным – представим себе такую абсолютно невозможную ситуацию – не было бы Клюева и он по какой-либо причине поддался бы на “заманки” Маяковского и пошѐл бы за ним – он бы погиб как поэт. Во всяком случае, того Есенина, которого мы знаем, не было бы в помине. И Клюев это прекрасно понимал, и Есенин если не осознавал в полной мере, то чувствовал. Отсюда и “лампадное масло”, и “исконное... посконное...” Дескать, вы с нами на своём языке говорите, а мы поговорим на своём...

А дабы не углубляться в то, во что углубляться не стоит – лучше привести дарственные надписи на фотоснимках, которыми обменялись друзья:

“Сергею Есенину. Прекраснейшему из сынов крещѐного царства, моему красному солнышку, знак любви великой – на память и здравие душевное и телесное. 1916 г. Н. Клюев”.

И – ответ Есенина:

“Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Серѐжа 1916 г. 30 марта Пт.”.

Любому неспорченному взгляду очевидна нежность и любовь в духе людей, которые стали друг другу родными по душам.

Но вернёмся к Надежде Плевицкой.

* * *

Она не просто сдружилась с Клюевым. Они стали делать общее дело. Весной 1916 года Николай вместе с Надеждой отправились в концертную поездку по России. Города меняли друг друга – Витебск, Минск, Могилѐв, Гомель, Киев, Орѐл, Тамбов, Пенза, Сызрань, Двинск. В афишах Клюев значился, как “народный поэт – сказитель былин”. Иные концерты проходили в прифронтовой полосе, когда на железнодорожные пути, подходящие к городу, падали бомбы.

В мае месяце по нездоровью Плевицкой концертное турне прервалось, а следующая поездка состоялась уже в ноябре-декабре того же года. Сначала юг России и Кавказ – Баку, Тифлис, Владикавказ, Армавир, Ставрополь, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Новочеркасск. Потом Москва, Нижний Новгород, Владимир, Тверь... Все концерты проходили с неизменным успехом и благожелательной прессой.

“Голубь мой, – писал Клюев Ширяевцу из Армавира в Ташкент. – Я на Кавказе. Спасибо за “Запевку” (книга Ширяевца. – С. К.). Может, доеду до тебя...” Так и не доехал и уже из Петрограда писал в следующем письме: “Я был на Кавказе и положительно ошалел от Востока. По-моему, это красота неизречённая. Напиши мне, можно ли у тебя пожить хоть месяц?” По этим строкам желающие могут сделать вывод, что так о Кавказе можно написать, лишь побывав там впервые, а, значит, все рассказы Клюева о его путешествии по Кавказу в юности – выдумка. Ни спорить, ни разубеждать за отсутствием документальных данных не стоит. Стоит всё же прислушаться к поэту.

В это пребывание Клюева с Плевицкой на Кавказе произошло событие, которое не могло не явиться тяжким знамением для Николая. Попутно он печатал стихи в газетах посещаемых городов и, естественно, читал, что пишут об их совместных с Надеждой выступлениях. И вот что довелось ему прочесть в “Закавказской речи” от 17 ноября.

“Смерть поэта Верхарна.

Из Руана сообщают в Париж.

14 ноября бельгийский поэт Верхарн, прибывший в Руан в воскресенье для прочтения лекции, возвращался в Париж с поездом в 16 часов со станции на Зелёной улице. Намереваясь сесть на тронувшийся поезд, Верхарн от толчка поскользнулся и упал под колёса вагона. Он был поднят умирающим в страшно изуродованном виде”.

Несчастный случай... Но для Клюева, хорошо знавшего стихи бельгийского классика, – это не случайность. Волей-неволей вспомнились верхарновские строки стихотворения “К будущему”:

*Поля кончают жизнь под страшной колесницей,
Которую на них дух века ополчил,
И тянут щупальцы столица за столицей,
Чтоб высосать из них остаток прежних сил.*

*Фабричные гудки запели над простором,
Церковные кресты марают чёрный дым,
Диск солнца золотой, садясь за косогором,
Уже не кажется причастием святым!*

*Воскреснут ли поля, живые дали ваши,
Заклятые от всех безумств и лживых слов,
Сады, открытые для радостных трудов,
Сияньем девственным наполненные чаши?*

*Вас обретём ли вновь и с вами луч рассветный,
И ветер, и дожди, и кроткие стада,
Весь этот старый мир, знакомый и заветный,
Который взяли в плен и скрыли города?*

*Иль вы останетесь земли последним раем,
Уже покинутым навеки божеством,
Где будет сладостно, лучом зари ласкаем,
Мечтать в вечерний час мудрец пред тихим сном!*

Это – прямое созвучье с Клюевым, с его предчувствием “лиха и гибели во мгле” от “Чугунки”... Европейский собрат, предупреждавший человечество о наступлении “страшной колесницы”, погиб от неё сам... Вот тут впору и поразмыслить – насколько творимое Николаем не имеет отношения к “общечеловеческому”...

После революции они с Плевицкой больше не виделись. Надежда после многих драматических перипетий ушла в эмиграцию, где на Галлипольском берегу сочелась браком с генерал-майором Николаем Скоблиным. Потом –

жизнь в Париже и лютая, выматывающая тоска по России, куда стремился и её муж. Неумолимые обстоятельства складывались так, что возвращение надо было заслужить. И заслужить жестоко. Таковы были неотменяемые условия. Скоблин и Плевацкая их приняли.

Ценой возвращения на родину для них обоих (для Скоблина – в первую очередь) стало похищение и вывоз в СССР руководителя боевой эмигрантской организации Российского общевойскового союза генерала Евгения Миллера. Ни Миллера, ни самого Скоблина больше никто никогда не видел. А Плевацкая была арестована “за соучастие”. И заключена в парижскую тюрьму.

До сих пор нет ясности относительно её роли в этой трагической истории. Можно вспомнить, что в террористических актах против троцкистов-перебежчиков принимал участие член “Союза возвращения на родину” и агент НКВД Сергей Эфрон, который после одной из “акций” вынужден был бежать в Россию. Его жена, Марина Цветаева, была допрошена, но против неё самой не нашлось никаких улик – было очевидно, что она вообще не знает о тайной деятельности своего мужа. И – осталась на воле.

Плевацкая знала – кто её муж. Знала и его явную, и его тайную жизнь. Но утверждать, что она была прямой соучастницей... Возможно. А возможна и клевета бывших соратников Скоблина по РОВСу, мечтавших хотя бы заочно отомстить предателю, и соответствующая фабрикация улик. Факт остаётся фактом: в декабре 1937 года в последний день процесса она произнесла в зале суда: “Господь Бог – мой свидетель. Он видит, что я невиновна”.

Она не рассчитывала спасти себя этими словами. Знала, что спастись нельзя. И была истинно православным, воцерковлённым человеком. От таких людей в подобные минуты, за шаг до небытия, невозможно услышать не то что ни слова лжи – ни единой фальшивой ноты.

Она умерла 5 декабря 1940 года в тюремной камере, не зная, что её “другок Николушка” уже три года, как покоится в сибирской земле, что он так же достойно, как и она, вёл себя перед палачами и умер, как и она, с молитвой на устах.

* * *

17 марта 1915 года министр внутренних дел правительства Российской империи утвердил устав “Общества возрождения художественной Руси”. В уставе общества формулировалась как необходимость его создания, так и стоящие перед ним насущные задачи:

“... ещё нигде не осознавалась общая задача такого возрождения художественного быта древней Руси, которое могло бы дать широким кругам общества побудительный толчок к отказу от иностранных заимствований, предпочтению русских образцов, и далее – ознакомив всех с высоким достоинством этих последних, заставить изучить, а следовательно – и полюбить их, дало бы новую жизнь русскому самобытному творчеству для преемственного возрождения давно забытого прошлого. С последней именно целью учреждается “Общество возрождения художественной Руси”...

1. “Общество возрождения художественной Руси” имеет целью распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным условиям. Деятельность Общества распространяется по всей России.

2. Для достижений указанной цели Общество имеет в виду... распространять сведения о художественной стороне церковного и гражданского быта древней Руси и возбуждать к ней общественное внимание путём устройства чтений и бесед, а равно – путём издательства, заботясь при этом о чистоте русской разговорной речи и книжного языка”.

Николай II направил председателю Общества князю А. А. Ширинскому-Шихматову Высочайшую телеграмму: “Сердечно приветствую добрый почин учредителей общества, желаю быть осведомлённым о всех его трудах и успехах. Николай”.

Штаб-офицер для поручений при коменданте Царскосельского дворца, лейб-гвардии Павловского полка полковник Дмитрий Николаевич Ломан стал одним из администраторов и организаторов Общества и осенью того же года,

познакомившись с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным, принялся вынашивать план выступления “сказителей”, как он их называл, живых носителей “древнего русского творчества” в его современных “проявлениях” — при дворе.

Легко сказать — познакомившись... Это “знакомство” было организовано, и организатором его был никто иной, как Григорий Распутин.

“Милой, дорогой, присылаю к тебе двух парешков. Будь отцом родным, обогрей. Робяты славные, особливо этот белокрысыый. Ей Богу, он далеко пойдёт”. Такое сопроводительное письмо Распутин отправил с “ребятами” Ломану.

Так что несколько в иной последовательности протекал клюевский вояж, нежели вещал он об этом в 1922 году в “Гагарьей судьбине”.

“В Питере на Гороховой, бес мне помехой на дороге стал. Оболочен был нечистый в пальто с воротником барашковым, копыта в калоши с опушкой упрятаны, а рога шапкой “малоросс” накрыты. По собачьим глазам узнал я его.

“Ты, — говорит, — куда прёшь? Кто такой и откуда?”

“С Царского Села, — говорю, — от полковника Ломана... Григория Ефимовича Новых видеть желаю... Земляк он мой и сомолитвенник...”

К “земляку и сомолитвеннику” Клюев пришёл до Ломана, будучи уже, по его собственным словам в “Гагарьей судьбине”, знакомым с Распутиным, дороге к которому ему теперь загораживал “бес” — царскосельский привратник. А Клюев и здесь зрел сущность за оболочкой.

“В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда человек ступает на передки ног, чтобы лёгкость походке придать, учуял я, что это “он”. Семнадцать лет не видались, и вот Бог привёл уста к устам приложить. Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

“Ты, — говорит, — хороший, в чистоте себя соблюдаешь... Любо мне смирение твое: другой бы на твоём месте в митрополиты метил... Ну да не властью жив человек, а нищетой богатной!”

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей, трещинка поперёк нижней губы и зрачки в масло окунуты. Под рубахой из кручной китайской фанзы — белая тонкая одежда и запястки перчаточными пуговками застёгнуты; штаны не просижены. И дух от него кумачный...”

Клюеву важна каждая деталь и одежды, и обихода. Как заново всматривается он в давнего знакомца и “сомолитвенника” и отмечает про себя его слова, что на месте Клюева другой “в митрополиты бы метил”... А глядя на Распутина, подумает: тут не “митрополит”, тут — выше бери...

Всё подмечает Клюев: и столик с дешевыми бумажными салфетками, и иконы не истинные, “лавочной выработки”, и истинную “серебряную лампадку”... И в самого Распутина всматривается внутренним зрением, понимая, что тот также видит и его.

“Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на образа, а как “аминь” сказать, внизу или сверху — то невдогад — явственно стон учуялся.

“Что это, — говорю, — Григорий Ефимович? Кто это у тебя вздохнул так жалобно?”

Лёгкое удивление и как бы некоторая муть зарябила лицо Распутина.

“Это, — говорит, — братишко у меня тебе жалуется, а ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное открывает... Ты знаешь, я каким дамам тебя представляю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского царя увидеть? Только пророчествовать не складись... В тебе ведь талант, а во мне дух!...”

Нет, Клюев не хочет видеть царя... Дамам он позже будет представлен, но сейчас отмечает, как Распутин пытается распределить “роли” на будущую встречу, дабы Клюев его не “заслонил”... Других нечего опасаться. А этот — может.

И понимает распутинское беспокойство Клюев. И переводит разговор на другое.

“Неладное, — говорю, — Григорий Ефимович, в народе-то творится... Поведать бы государю нашу правду! Как бы эта война тем блином не стала, который в горле комом становится?...”

Знает ведь, кому говорит. Чует отношение Распутина к длящейся второй год войне (а ведь могло распутинское слово предостеречь роковой шаг ещё год назад — да вовремя на него “покушение” было устроено), и сам Клюев, очнувшийся от первоначального военного угара, уже написавший “Нивушку-чернёшеньку” и “Покойные солдатские душеньки...”, переживал всё происхо-

дящее, как предапокалиптическое время. Распутину на большую мозоль наступил — и тот среагировал. И сам перевёл разговор.

“Я и то говорю царю, — зачастил Распутин, — царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы!”

Ой ли! Зная отношение Николая II к частному землевладению, — сунулся бы Распутин к нему с такой речью? А мог и сунуться. Ведь когда приставали к нему репортёры различных газет — прямо им отвечал:

“Интересуюсь я теперь мужичком, от него всё. Вот построили вокзал. Хороший вокзал... А где же мужички? Их под лавку загнали. А ведь деньги-то они давали на постройку.

Вот вы все пишете про меня небылицы, врётё, а я ведь за мужичков... Мы теперь решили ставить архиереев из мужичков. Ведь на мужицкие деньги духовные семинарии строятся...

На чём Россия держится?... На мужике. Вот закрывают кабаки — два закроют, а один откроют, а мужики тащат да тащат деньги... Поеду в Петербург, буду стараться за мужичков...

Ты вот что, дорогой, напиши, коль ты так уж писать хочешь... вот что: всяка аристократия мужиком питается... Мужичок — есть сила и охрана аристократии-то. Мужичок — знамя, и знамя это всегда было и всегда будет высоко...

Но сейчас перед ним не царь и не газетный корреспондент, а Клюев, отношение которого к “землице Божьей” знает Григорий Ефимович. И подыгрывает, не лицемеря. Ибо сам понимает — это последняя и единственная возможность предотвратить грядущий пожар. В общем-то уже несбыточная.

И опять всё видит Клюев. И снова пытается говорить о другом.

“Старался я говорить с Распутиным на потайном народном языке о душе, о рождении Христа в человеке, о евангельской лилии, он отвечал невпопад и, наконец, признался, что он ныне “ходит в жестоком православии”. Для меня стало понятно, что передо мной сидит Иоанн Новгородский, заклинявший беса в рукомоинике, что стон, который я слышал за нашей молитвой перед пирогом, суть жалоба низшей пленённой Распутиным сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а поклонился ему по-монастырски...

И, уже обозначив отчётливую дистанцию между собой и Распутиным, проведя незримую и непереходимую черту, привёл к нему Клюев Есенина, который, судя по всему, чрезвычайно понравился “старцу”, больше, чем его “сомолитвенник” — и получили они тогда рекомендательное письмо к полковнику Ломану. А тот взялся за дело по-хозяйски.

По донесениям филёров, Дмитрий Николаевич Ломан с октября 1914 по декабрь 1916 года посещал Распутина 19 раз. И тут — хочешь не хочешь — задашь вопрос: какую роль он играл в дворцовой интриге вокруг “старца”?

Он устраивает чтение (по отдельности) Николая Клюева и Сергея Есенина перед императрицей Александрой Фёдоровной. Клюев в “Гагарьей судьбине” вспоминал об этом чтении без особого восторга:

“Как меня учил сивый тяжёлый генерал, таким мой поклон русской царице и был: я поклонился до земли, и в лад моему поклону царица, улыбаясь, наклонила голову. “Что ты, нивушка, чернёненька...”, “Покойные солдатские душеньки...”, “Подымались мужики-пудожане...”, “Песни из Заонежья” цветистым хмелем сыпались на плечи и букли моих блистательных слушателей.

Два раза подходила ко мне царица, в упор рассматривая меня. “Это так прекрасно, я очень рада и благодарна”, — говорила она, едва слышно шевеля губами. Глубокая скорбь и какая-то ущемлённость бороздила её лицо.

Чем вспомнить Царское Село? Разве только едой да дивным Феодоровским собором. Но ни бархатный кафтан, в который меня обрядили, ни раздушенная прислуга, ни похвалы генералов и разного дворового офицера не могли размыкать мою грусть, чувство какой-то вины перед печью, перед мужицким мозольным лаптем”.

А ещё раньше, в январе 1916 года, они вместе выступали перед Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной сначала в Марфо-Мариинской обители, а потом в её московской резиденции, и получили от неё по экземпляру Евангелия и серебряные образки с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и св. Марфы и Марии... Послушаем снова самого Клюева:

“Гостил я и в Москве, у царицыной сестры Елизаветы Феодоровны. Там легче дышалось и думы светлее были... Нестеров – мой любимый художник, Васнецов на Ордынке у княгини запросто собирались. Добрая Елизавета Феодоровна и простая, спросила меня про мать мою, как её звали и любила ли она мои песни. От утончённых писателей я до сих пор таких вопросов не слышал”.

Неспроста, ох неспроста зашёл этот сердечный душевный разговор в покоях Великой Княгини. Подготовилась она к этой беседе. И чем больше думаешь об этих встречах – тем естественнее приходишь к выводу: это были смотрины. Елизавета Феодоровна, ненавидевшая Распутина, присматривалась к Ключеву, подведённому к ней деятелями из “Общества возрождения художественной Руси” и полковником Ломаном, в частности.

Ещё раз вспомним: в 1906 году генеральша А. В. Богданович записывала в своём дневнике: “Мадемуазель Клейгес говорила, что в бумагах покойного Трепова нашли документы, из которых ясно, что он собирался уничтожить всю царскую семью с царём во главе и на престол посадить великого князя Дмитрия Павловича, а регентшей великую княгиню Елизавету Феодоровну”.

Слухи ли, сплетни ли – но разговоры такие ходили... При любых обстоятельствах, по мнению Великой Княгини и её окружения, Распутин подлежал удалению из дворца. И физическому уничтожению. А на его место... коли иного варианта не просматривается... Хотите мужика – будет вам мужик!

Клюев нутром почуял, что его самого и его любимого друга затягивают в смертоносную воронку, чего не почувствовал Есенин, для которого осталось загадкой поведение Ключева в эти дни. В контексте этих событий становится понятным смысл есенинского письма к Михаилу Мурашову от 29 июня 1916 года.

“Дорогой Миша! Приветствую тебя из Москвы. Разговор у меня был со Стуловым, но немного, кажется, надо погодить. Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику. Стулов в телеграмме его обругал, он, оказывается, был у него раньше, один, когда ездил с Плевницкой и его кой в чём обличили”.

Н. Стулов, как Есенин, служил в это время в чине прапорщика при Царскосельском военном санитарном поезде № 143 и исполнял разнообразные поручения Д. Н. Ломана, в частности, устраивал Ключева и Есенина на жительство в Москве для выступлений перед Елизаветой Феодоровной. Жаль, что не сохранилась его телеграмма и невозможно сказать – в чём именно Стулов “обличил” Ключева. Но фраза “я не знаю, для какого вида он затягивал меня в свою политику” говорит о том, что Клюев, гостивший у Есенина в Константинове, отказался ехать с ним в Москву, где, видимо, предполагалась очередная встреча с членами царской фамилии. Отсюда и “политика” в письме ничего не понявшего Есенина, который был обречён возвращаться к месту воинской службы.

... В 1922 году Есенин рассказывал А. Ветлугину о своих встречах с Распутиным.

Принято думать, что эти рассказы – сплошная выдумка. Но недаром Ветлугин сделал к ним необходимое предуведомление.

“Есенину была свойственна известная страсть к приукрашиванию, гарпированию.

Но не думаю, чтобы он выдумывал целиком.

Да и для чего?

В частности, о встрече своей с Распутиным он рассказывал в 1922, шесть лет после смерти Распутина, пять лет после того, как самое имя Распутина потеряло какую бы то ни было значительность”.

И вот что рассказывал Есенин:

“Выслушав стихи Есенина, старец будто бы сказал:

– У-ух, и хитёр же ты, Серега, страсть как хитёр...

Есенин (представляете, как наивно заблестала помутневшая голубизна глаз):

– О чём это ты, Григорий Ефимович, про какую такую хитрость?

– Да уж знаю про какую! Думаешь, коли нараспев вирши свои читаешь, не понимаю я, к чему гнёшь... Так и скажи князю – “прост, мол, Григорий, да не родилась ещё та мышь, что коту на хвост звонок повесила...”

– Про какого это ты князя, Григорий Ефимович, рассказываешь... Я с князьями не знаюсь...

– Ты-то... Вот что я тебе, Серега, скажу... Ты из Рязани, я сибирский...

не проведёт Рязань Сибирь... Про Ермака слышал... Как он Грозного царя вокруг мизинца обкрутил..."

Про какого князя речь? Да про генерал-майора князя М. С. Путятина, также одного из инициаторов "Общества возрождения художественной Руси" и на людях – друга, а по сути – лютого врага Распутина.

Как и Ломан – Путятин вёл во всей этой карусели свою игру. Распутин всё острее и острее чувствует: обложили со всех сторон. И роль, предназначенную в этой игре старому "знакомцу" Клюеву и понравившемуся ему Есенину – видит и понимает.

"По словам Есенина в Распутине его интересовал не только тип", – пишет Ветлугин. Дальнейшие упоминания о "дружбе" Есенина и Распутина, о том, что "Есенин избегал появляться со старцем "на публике", и что "Есенин частенько появлялся на Гороховой" и "не раз" посещал с Распутиным "Виллу Родэ" смело можно отнести к есенинским фантазиям. Но распутинские слова, обращённые к Есенину, ни на какие "фантазии" не пишешь.

"Когда я бывал с Распутиным, – смаковал Есенин, – я всеми десятью пальцами ощупывал – гниёт, ползёт, тлеет умирающее общество. Распутин... Бумеранг... Думали сблизиться с землёй, а она... бац... по лбу..."

Так передавал слова Есенина Ветлугин.

А Клюев...

"Гришка Распутин мне дорогу перешёл. Кабы не он – я был бы при царице..." Это Клюев говорил уже в начале 30-х годов, многое пережив и переосмыслив, когда в "Песни о великой матери" рисовал портрет Николая почти идиллической акварелью, и где Распутин выступает как нечистый ("Где с дитятей голубится чёрт"), разрушающий царскую обитель.

*Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюшь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!
Иль навеки шальная рубаха
И цыганского плиса порты
Замели, как пургою с размаха
Мономаховых грамот листы?!
Вон и речки Смородины заводь,
Где с оглядкой, под крики сына,
Взбаламутила стиркой кровавой
Чёрный омут жена палача!
Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый кентавр.
Слишком тяжкая выпала ноша
За нечистым брести через гать,
Чтобы смог лебедёнок Алёша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать.*

А перед революцией многие сравнивали самого Клюева с "краснозубым кентавром".

* * *

Весной 1917 года Николай Гумилёв написал, пожалуй, лучшее своё стихотворение. Одно из немногих стихотворений, пронизанных подлинным страхом, и, наверно, единственное, где этот страх продиктован ощущением неумолимой поступи рока, надвигающегося на Россию.

Это стихотворение "Мужик".

*В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,*

*В срубках мохнатых и тёмных.
Странные есть мужики.*

*Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.*

.....
*Вот он уже и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной негромкой,
Но озорной, озорной.*

Стихотворение, как известно, насыщено приметами биографии Распутина. Но есть в нём и ещё один смысловой слой, не сразу угадывающийся.

Гумилёв никогда не встречался с Распутиным. При чтении же “Мужика” создаётся устойчивое впечатление, что речь идёт о человеке, хорошо знакомом Гумилёву лично, и на наших глазах совершается контаминация образов царского фаворита и того, с кого Гумилёв, по сути, писал его портрет.

С Николая Клюева, образ которого в литературных кругах Петербурга уже тугим узлом связался с образом Распутина.

“В конце 1915 года, — вспоминал Рюрик Ивнев, — иеромонах Мардарий, приехавший за несколько лет до этого из Сербии, прочёл в Колонном зале Дворянского собрания лекцию “Сфинкс России”, в которой, не называя имени Распутина, обрушился на него с обвинениями в подрыве основ Империи.

С не меньшим основанием фразу “Сфинкс России” можно применить и к поэту Николаю Клюеву. Он был загадочен с головы до ног”.

Это воспоминания 1969 года. А по горячим следам писалось и говорилось куда хлеще: “Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идёт снизу, а приходит и с самого верха. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но — это нужно заметить — в те годы скорее ждала революции сверху... Распутинщиной от клюевщины несло, так и теперь несёт” (В. Ходасевич).

Вернёмся, однако, к Гумилёву.

*В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.*

*Взглядом, улыбкою детской,
Речью такой озорной, —
И на груди молодецкой
Крест просиял золотой.*

*Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?*

Что за апокалиптическая картина? А ведь в ней заключён глубокий смысл.

Гумилёв пишет сюжет с Распутиным, а видит перед собой Клюева, носившего на груди древлеправославный восьмиконечный крест, ставший символом православия после разделения христианской церкви на западную и восточную и, отвергнутый, изгнанный отовсюду после нововведений Никона. “Всюду во всей России, — писал Фёдор Мельников, — на всяком подходящем месте возвышались и сияли своим благолепием восьмиконечные кресты Христовы: на святых храмах Божиих, на колокольнях, над входными воротами в ограду церковную, даже над воротами и калитками каждого дома христианского... Возвышался он над хоругвями, сам будучи хоругвиею христианства, над дверями церковными и во всех других местах храма Божия, где полагался Крест; на груди всякого русского человека висел восьмиконечный крестик, хотя и на четвероконечном, как на основе изображённый...”. Восьмиконеч-

ный крест отчётливо виден на груди Клюева на петроградской фотографии 1916 года, где он снят рядом с Сергеем Есениным.

Древняя мужицкая Русь в образе не то Распутина, не то Клюева входит в “гордую нашу столицу”, и при её появлении готовы покинуть свои места “крест на Казанском соборе и на Исакии крест” – символы и хранители императорской, романовской России, замершей в предчувствии неминуемого возмездия.

*Над потрясённой столицей
Выстрелы, крики, набат;
Город ощерился львицей,
Обороняющей львят.*

Поразительный образ! Львица – глава прайда, охотница и добычица (охотник и путешественник Гумилёв хорошо знал повадки этих зверей). Мужичья Россия – добыча града-львицы сама превращается в охотника на своего преследователя-хищника. И конца этой новой охоте не предвидится.

*“Что ж, православные, жгите
Труп мой на тёмном мосту,
Пепел по ветру пустите...
Кто защитит сироту?”*

*В диком краю и убогом
Много таких мужиков.
Слышен по вашим дорогам
Радостный шум их шагов”.*

Стихотворение “Мужик” было написано в марте 1917 года и напечатано в книге “Костёр”, вышедшей в 1918 году. Но нет никаких сомнений, что Клюев знал его до публикации. Весной 17-го он был в Петрограде, очевидно, слышал его от самого Гумилёва и уже осенью написал свой ответ.

*Меня Распутиным назвали:
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны.
Что души-печи и телеги
В моих колдующих зрачках
И ледовитый плеск Онеги
В самосожженческих стихах.*

Клюев, утрируя слухи и сплетни, ходящие по столице о Распутине и применяя их к себе, подчёркивает своё первородство, обозначает свой природный русский и одновременно вселенский духовный исток – в образе Царьграда, Святой Софии, где Лев – сакральное животное в клюевском мире – не охотник на человека и не защитник от него своего потомства. В клюевской “алконостной России” они говорят на одном языке, который неведом мнимым друзьям и приятелям и временным “единомышленникам”, окружавшим его в столице в канун краха империи.

*Картавит дружба: “Святотатец”.
Приятство: “Хам и конокрад”,
Но мастера небесных матиц
Воздвигли вещему Царьград.*

*В тысячестолпную Софию
Стекается зверь и человек.
Я алконостную Россию
Запратал в дедовский сусек.*

.....
*Потомок бога Китовраса,
Сермяжных Пудов и Вавил,
Угнал с Олимпа я Пегаса
И в конокрады угодил.*

Слишком жива была в его памяти встреча с Распутиным, с которым Клюев пытался, но так и не смог найти общий язык.

И не мог Клюев не вспомнить своё посещение Царского Села и своих совместных с Есениным чтений перед Елизаветой Феодоровной в январе 1916 года в Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке и в её московской резиденции. Тогда-то и пущен был по питерским салонам слух о нём, как о новом Распутине. И “распутинский” мотив уже не отпустит его практически до конца. Только если Распутин в реальности и клюевском представлении — охранитель и надежда трона, то Клюев — в 1917-м — его сокрушитель.

*Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва.
Есть Слово — змея по плечи
И схимника голова.*

*В поддёвке синей пурговой,
В испеляющих сапогах
Перед троном плясало Слово
На гибель и чёрный страх.*

Зимой 1917 года, уже после убийства Распутина, Ломан заказал Клюеву и Есенину стихотворный сборник в честь императорского дома. Распутина не было, императорский дом доживал последние дни, а царедворцы всё ещё играли в политику, просчитывали “тактику” и “стратегию”. Клюев отозвался на приглашение поразительным документом, названным “Бисер малый от уст мужицких” (по образцу древней рукописной книги). Это не объяснение, не письмо, не послание. Это — духовный манифест.

В неё сконцентрировалось всё клюевское пребывание в литературном мире двух столиц. Унижение и злорадство писательского круга, вечные отсылки самых благожелательных критиков к Никитину, Кольцову и Сурикову... Но не это главное, всё это — попутно. Главное — небесная Русь. Небесная Русь, воплощённая в художественном слове, как его понимала древнейшая русская устная и книжная традиция. Формально Клюев отзывается на приглашение Ломана, но по сути — пишет императору и царскому дому.

Здесь, в этом “послании” — Клюев поднимается на удивительную высоту, с которой он, обладающий правом, дарованным тысячелетней традицией, обозревает не только жизнь царского дома, но и всё художественное пространство России, накануне грандиозного мирового катаклизма.

Поскольку этот манифест до последнего времени приводился лишь в обрывочных цитатах и только совсем недавно был опубликован полным текстом, да и то мелким шрифтом в примечаниях к трудам литературоведа, в доме которого он хранился много лет, я привожу его полный текст без комментариев.

“Государь и милостивец.

Брат Сергей поведал мне пресладостную весть о том, что Вам положил Бог на душу желание предать тиснению купно мои и Сергиевы писания. Усматривая в таком душевном желании Вашем веяние Духа Животворящего, пекущегося о всякой правде и красоте, и под тем или иным видом укрепляющего в вечном свитке русско-народного творчества дела слабых рук наших и словеса наших грешных уст, я, Ваш, Государя моего, покорнейший слуга, имею честь доложить Вам, от совести моей, следующее: всякая книга достигает до высокого и до низкого, до сильного и до дрожащего, наипаче же книга, отразившая в себе век, веру или дух народа и его природы; такой всосавшей в себя жизнь и родную природу книгой являются писания брата Сергея Александровича Есенина. Говорю сие не для слов, а от ясных осознанности и духовного прозрения златоустного лика Есенина в ряду таких жизнеписателей, как Андрей Рублёв, Гурий Никитин с товарищи и прочт.

От Киевских пещер до Соловков тянется незримая для гордых глаз, золотая тропа русско-народного творчества. Те люди, которые протоптали эту тропу, много страдали, много трудились, много пролили крови... Теперешние же писатели и художники думают, что они родились сами по себе, скроенные из разрозненных лоскутков западной мысли и дела. У них есть так называемая литература, они гордятся сказанным миру новым, будто бы русским словом, но то, что кажется последним достижением их мысли, давно родилось в стихийной душе народа. Доказательством же сего и служит медовое искусство брата Сергия.

*О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины...*

и ещё:

*Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.*

Ведь это то же самое, что в гурьевских росписях церкви Златоуста, что на Коровниках, в Ярославле. Ведь это те же фрески, и в них открывается совершенно новый эстетический мир, необыкновенно поучительный для понимания русской души. Но и помимо этой поучительности есть в них ещё власть даже над утратившей веру душой: незримые нити возвращают блудного сына к воспоминаниям детства, пробуждают что-то вечно дремлющее в низинах души. Так, живя в столице, погружившись с головой в деловую, сухую суету, всё же встрепенёшься и вспомнишь о чём то родном и далёком при звоне пасхальных колоколов. С Итальянских озёр, где вечно празднует природа, всё же тянет русского человека домой, на лесную опушку, в тенистый овраг за селом, или в ржаное поле, откуда видны золотые маковки.

Необычайное словесное многообразие Есенина дало повод Левинсон-ским наборщикам и Сладкопевцеву обозвать его футуристом. Такое определение Есенинского художества наборщиками не заслуживало бы и обсуждения, и упомянуть про него можно лишь в связи с именем Сладкопевцева, который просто на время забыл, что поэтичности и образности требует национальная стихия русского языка. Так было, так будет, и никакие соблазны на иные пути не дадут вечных ценностей.

Поэзия Никитина и Спиридонова Дрожжина не есть русская поэзия, их стих, где голая фабула и тенденциозность, пришедшая от немецкого мещанского искусства, далёк нашей душе. Мы же с Есениным, как и далёкие наши братья, древние изографы, умеем облекать свои мысли в образы, в затейную, как арабская вязь, форму. Для нас, как и для наших художественных предков, задачи декоративные так же близки и дороги, как и задачи повествовательные. В искусстве не одна, а тысячи ценностей, но ни чего не стоящее в нём это так называемый реализм:

*“Вот” моя деревня,
“Вот” мой дом родной,
“Вот” качусь я в санках
По горе крутой.*

(С. Дрожжин*)

Ведь так сложит, вымыв руки и повязав чистый передник, любая из Ваших судомоек.

Нам же с Есениным, как носителям таинственного инстинкта – воли народа, творящей в нас красоту, стыдно за такое трёхсаженное – вот, вот, вот... Языческо-папитское понимание искусства не допускает, напр., петь про Христа, сидящего на завалинке. Но Христос на завалинке, как и росписная мужицкая дуга, в которую впряжён огненный коренник, возносящий пророка Илию на небо, понятны лишь пчелиному сердцу юноши христианина, для которого просто недопустимы без Христа мужицкой обиход и вся русская природа.

Дуга на небесном кореннике и вятский колоколец под ней кажутся неуместными и кощунственными для известной породы людей, неспособных ни на духовное, ни на просто житейское дерзание, не верующих в общение земли с небом, доверяющих больше градуснику, чем голубю – вестнику того, что земля суха, стихли ветры и масличное дерево зеленеет по-прежнему. Где же больше правда, в градуснике или в голубе? Я и Сергей веруем в голубя. И как художники-христиане благословляем блаженные персты, изобразившие русскую дугу на иконе – знак того, что земля и небо – кровная родня.

Вятский колоколец, восхищённый на небо, звонит доселе, и горе русской земле, если он сорвётся в бездну. Тогда осыплется золотое дерево церкви и искусства, останутся лишь Дрожжин, Копыткин с Ядыткиным да клеветнический рассказ о том, что поёт маляр на высоте шестаго этажа.

* В действительности это стихотворение Ивана Захаровича Сурикова. – С. К.

Существует тайное народное верование, что Русь не кончается здесь на земле, что всё праведное на Руси возсоздаётся и на небе. Иначе и быть не может. Верите же Вы фотографической пластинке, запечатлевающей внешнюю жизнь, почему же не поверить и в то, что Ваша трапезная палата – плод чистой мысли и устремления не отражена в сферах небесных. Есенин и я веруем в это крепко. Когда утихнет военная буря, очистится от щепного и человеческого мусора новопостроенный Вами Китеж, замерцает в ободу его врат доброочитый Спас с Егорием, сгинут из теремов биллиарды и рояли, а взамен их войдёт в терем белица-тишина, Вам будет понятно, что Вы свили гнездо Фениксу, посадили златодревный дуб, под которым явится Рублёвская Троица. Ибо только тогда Русь вышлет к Вам новых Рублёвых, Иоаннов Кронштадтских, трудников чистаго слова, мысли и молитвы. И каким бы высоким счастьем почёл я – лично, надеть вериги, и в костромском кафтане, с бородой по локоть, с полупудовым узорным ключом – быть привратником у тако-го Феникс-града!

Верьте, государь мой, что только творческая белая тишина крепко обяжет людей на чистое поведение в стенах Ваших теремов: никто не посмеет в них закурить, плюнуть на пол, рассказать похабный анекдот. Скажу Вам правду: “Святой Руси” угрожает нашествие мещанства.

Английско-франко-немецкая перечница сыплет в русскую медовую кутюю зелёный перец хамства, пинкертоновщины, духовного осотонения. Вербовка под стяг сатаны идёт успешно. Что же нерушимая стена, наш щит от всего этого? Ответ один: наша нерушимая стена – русская красота.

На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которых бы были отражены близкия Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик Царя и аромат Храмины Государевой – я отвечу словами древлей рукописи:

“Мужие книжны писцы золотари заповедь и часть с духовными приемлют от Царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерах близ святителей с честными людьми”.

Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самоё искусство, так и отношение к нему. Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чём не имеешь никакого представления. Говорить же о чём-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого окромя лжи и безобразия не выйдет.

Остаюсь Вас Государя моего покорнейший слуга и молитвенник Николай Алексеев Ключев”.

... Он, нутром чуявший, что неспроста все эти приглашения, забота и обласкивания, что его с любимым другом втягивают в многослойную и опаснейшую интригу, он, потомственный старовер – со всеми своими религиозными отступлениями и отклонениями, – не доверявший Романовым, – не мог не ответить в этом же стихотворении “Меня Распутиным назвали” сплетникам и клеветникам от имени Вечности.

*За евхаристией шаманов
Я отпил крови и огня,
И не обёрточный Романов,
А вечность жалует меня.
Увы! Для паюсных умишек
Невятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.*

Но Бог с ними, с обёрточными Романовыми... А вот “евхаристия шаманов” дорогого стоит. За этой евхаристией, поистине, может быть лишь одно причащение – кровью и огнём.

Он знал, что впереди: кровь и огонь.

(Продолжение следует)